

ПО ДОЛГУ ПИСАТЕЛЬСКОЙ СОВЕСТИ

«Пытливому уму, неординарной личности с пожеланиями больших достижений на литературном поприще», — с такими словами ректор Новосибирской консерватории Е.Г. Гуренко подарил свой учебник «Эстетика» писателю Юрию Петровичу Наумову, которого долго знал. Ум этого самобытного художника действительно был пытливим, ибо проникал в суть человека, в суть профессионального дела, в суть происходящих общественных событий, в суть актуальных научных проблем.

В опубликованных художественных, публицистических и научных работах Юрия Наумова вы прочтете о современном звучании классических романов русской литературы, о продолжающей жить в устах сельского сказителя русской сказке, о величии поисков и открытий отечественных ученых, о значении труда и изобретений рабочих крупных заводов страны, о непростых судьбах простых людей черноземной глубинки, о силе идеи гуманизма. В своих произведениях писатель изображает те харак-

теры, которые способны устоять перед природными и социальными стихиями, и те характеры, которые теряют себя перед их лицом; художник убежден в святости человеческой природы, предназначенной утверждать на Земле созидание. Именно талант создателя Юрий Наумов считает самым важным в человеке, оттого в женщине он ценит материнство и бескорыстие любви и заботы, в мужчине — его дело, вообще в людях труда — их ремесло. Достижением прозы и публицистики Ю.П. Наумова является умение точно, емко и образно раскрыть мастерство как высокое искусство — будь это мастерство крестьянина или рабочего, военного или ученого, педагога или писателя, актера или врача, балерины или певицы.

Вот герой Юрия Наумова, народный мудрец и сказитель, открывает родник: *«Взял он лопату под плечами горки, надоил капли родникового пота и стал потихоньку рыть. Камни плачут горькими слезами, пищат от прикосновения, а земля и глина поют песни, да-*

вая свободу ридниковой струе. Сделал Коля Корней ямочку, где стала отстаиваться водица. Сплел из ивняка корзину и оформил родничок» (цикл «Истории Коли Корнея», рассказ «Родник»).

А вот тот же герой делает мост: «Коля Корней заложил первую лепку из тальника... Тонкие длинные ветки в руках его мягко сгибались, и появлялся самый настоящий лепесток розы. Коля продерживал ветку и продолжал гнать виток на полотне. У комелька он делал ножом срез, обнажая сердечко. <...> Подобно древнему ткачу, мастер пропускал нитку за ниткой сквозь свою основу и уток... Плетеная ткань сверкала на солнце, как сверкало радостью лицо Коля Корнея. Там, где он делал срез на комельке, в сердечник загонял ключую стойкую ветку и соединял один конец с другим в цельную нитку. Незатейливым образом Коля Корней наматывал вышивание, захватывая узор снизу, и он в двойном окаймлении ложился на полотно ковра. Это бывал крепкий мост с бортами — такой, что и пьяному опора» (цикл «Истории Коли Корнея», рассказ «Мост»).

О слесаре новосибирского завода «Электросигнал Юрий Наумов пишет: «Его рабочее место напоминает индивидуальную лабораторию-мастерскую. И нет такой работы в цехе, которую он не смог бы выполнить или от которой отказался бы. Более того, когда бывают срывы, когда кто-то загнал в брак деталь или не уложился в сроки, именно Белозерцеву поручают найти выход. <...> На таких людях строилась вековая мастерская умельцев. На рабочие руки во все времена опиралась человеческая мысль. По крупницам несли народныи умельцы то, к чему пришло совершенство техники» (очерк «Человек с кулибинской заваской»).

В материале об итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде Ю.П. Наумов исследует природу исполнительского искусства, указывая на меру ответственности художника перед обществом за созданные им образы: «Джина Лол-

лобриджида зреть со своими героями. Она словно зреть их. Ее герои — это не чужаки души, не чужаки, для нее не достигаемые, когда ты овладел образом и, будто опустошенная единица, начинаешь смущаться. <...> Истинный художник не удовлетворяется подобием. Он проникает в такие неведомые таинства, что, играя, обретает себя в герое. Я не хочу сказать, что уподобление есть наилучший способ игры, но постижение художественного образа облагораживает тебя и героя. Тогда ты не стесняешься своего прошлого, тебя не мучает совесть за то, что не то играл. Или играл не так. Иначе ты просто не мог. Джина Лоллобриджида — как раз идеал той актрисы, интересы которой находят выражение в ее убеждениях, когда человек стремится достичь тех возможностей, что заложены в нем природой. А искусство становится как бы средством, рабочим средством совершенствования» (эссе «Царство искусства женщины»).

Публицистические произведения, научные статьи и монографии, рассказы и стихотворения Юрия Наумова печатались в газетах, литературно-художественных журналах, альманахах и сборниках Москвы, Новосибирска, Воронежа, Красноярска, Махачкалы, Тамбова и Тамбовской области. В 2000 году вышла в свет первая отдельная книга Юрия Петровича «Душой сквозь время». Уже после его смерти был напечатан подготовленный им сборник рассказов «Россыпь на полотне села», а затем семья издала еще две книги — «На просторах земли русской» с рассказами, зарисовками и этюдами и «Сопрягать новое с совершенным» со статьями.

Но это малая часть наследия художника. Юрий Наумов пережил творческую драму: в 1978 году он написал письмо «Господину Пустозвонову» и отправил его Л. Брежневу и в «Литературную газету», после чего долгие годы газеты, журналы и издательства отказывали писателю в публикациях. Когда в стране грянули товарно-денежные отношения капитализма, художник встал пе-

ред необходимостью платить за то, что-то его произведения увидел читатель. А у него было 8 детей, которых он не только растил, но и учил вместе с женой с 1-го по 11-й класс в организованной им семейной школе. Книга «Душой сквозь время» была издана на деньги, вырученные от продажи домашней коровы... Нет, дети не лишились молока и мяса — семья водила скотину, держала огород, — но творчество покупалось Юрием Наумовым слишком дорогой ценой.

В своих жизненных делах, в своей жизненной позиции Ю.П. Наумов горел сам и зажигал всех, кто был рядом, всех, с кем общался. На одной из подаренных ему книг написано: «Человеку, которого знал целый час!» Это была поистине неординарная личность, крупный общественный деятель, всегда стремившийся быть в гуще важных событий и влиять на них.

Начинался его общественная деятельность с участия в заводских культурных и спортивных мероприятиях, затем он стал руководить сектором культуры в комсомольской организации опытного цеха новосибирского завода «Электросигнал», поднимая там художественную самодеятельность, после чего его избрали секретарем цеховой комсомольской организации. В это время Юрий Петрович был членом правления городской Театроведческой секции при новосибирском Доме Актера. Начинающий писатель обрел здесь необычайный кругозор, ибо руководителем секции был Ю.С. Постнов — первый доктор филологических наук Сибири, профессор Новосибирского государственного университета в Академгородке, заведующий Сектором русской литературы в Институте истории, философии и филологии Сибирского Отделения Академии наук СССР. На заседаниях Театроведческой секции велись обсуждения по самым актуальным проблемам времени, а в качестве гостей приглашались самые передовые люди страны.

Как активный общественник новосибирского завода «Электросигнал» Наумов был направлен на учебу в Универ-



Юрий Петрович Наумов

ситет марксизма-ленинизма при Высшей партийной школе города Новосибирска на факультет журналистики. Он тесно сотрудничал с газетами «Советская Сибирь» и «Молодость Сибири», будучи их внештатным корреспондентом. Общественные организации поддерживали его желание учиться на историко-филологическом факультете Новосибирского пединститута. Он успешно окончил институт и оправдал доверие людей, используя знания и опыт по назначению как в Сибири, так и на Тамбовщине.

Юрию Петровичу приходилось работать с прославленными коллективами — Театром оперы и балета Новосибирска, хором Новосибирского электротехнического института во главе с заслуженным деятелем культуры Э. Брагинским. Он писал об этих коллективах, учился у них понимать искусство музыки и нес знания в массы через средства печати. Увлекаясь спортом, писал о спортсменах и был приглашен на должность психоаналитика баскетбольной команды «Динамо» города Новосибирска, которая занимала в первенстве России ведущее место.

Переехав из столицы Сибири в Барнаул, Юрий Наумов стал работать старшим инженером по радиопропаганде в

Центре научно-технической информации Алтайского края. Приглашался художниками, музыкантами и писателями на художественные выставки, спектакли, концерты, на заседания Алтайского отделения Союза писателей СССР. В обсуждениях творческих работ принимал живое участие.

Наумов руководил тремя литературными объединениями: сначала при краевой газете «Молодежь Алтай», затем — на факультете общественных профессий Алтайского государственного института культуры и наконец — в новосибирском Академгородке. Члены этих литобъединений получили право руководить самодеятельными литературными коллективами в учебных заведениях и на предприятиях, стали сами публиковаться как профессиональные художники слова.

В Инжавинском районе Тамбовской области Наумов также вел активную общественную работу. Отстаивал людей в судах. Участвовал в колхозной жизни и собственным трудом, и писательским словом. Выступал на колхозных собраниях. В церкви избирался секретарем церковного совета. Налаживал отношения между священниками и прихожанами в конфликтных ситуациях. Помогал решать спорные вопросы общественной жизни в школьных коллективах и в колхозах. Приглашался на райсоветы и коллегии районной администрации, где в выступлениях говорил о наиболее насущном в нашей жизни.

Со своими болью, бедами, проблемами люди всегда обращались к Юрию Петровичу. Он всегда был готов выслушать и хлопотать о помощи матерям, инвалидам, детям, учителям, фронтовикам. В трудные и острые моменты переломного периода в истории Отечества Юрий Петрович старался по мере сил облегчить жизнь людей. Помогал им, чем мог, а люди помогали ему. У людей он учился жить в селе, а затем этот опыт передавал детям.

Обширная общественная деятельность требовала серьезной отдачи, определенных знаний, кругозора и, конеч-

но, авторитета. Всеми этими качествами Ю.П. Наумов обладал, потому что работал и с простыми, и с прославленными людьми — такими как академики Е.Н. Мешалкин, Д.С. Лихачев, Е.Б. Александров, писатели А.Л. Коптелов, Ю.В. Бондарев, А.Д. Дементьев.

Эта работа обусловила публицистичность и былевой характер его художественных произведений. Писатель не придумывает, но старается как можно точнее передать в слове жизнь, одновременно давая описываемым событиям ярко выраженную оценку, прежде всего горячо убеждая нас в том, что каждый человек талантлив и способен на творчество, которое даст ему и пропитание, и радость жизни, которое уведет от соблазнов и падения, которое подарит счастье. Вот как писатель ценит односельчанина Ивана Ефимовича Одина — человека большого, пьющего: *«Мельница стала ему вторым домом, тут приходилось проводить целые дни, а иногда и ночи. Иван Ефимович отбивал, поправлял, ладил старые крепления и жернова. Здесь, на мельнице, он получил туберкулез, и пора бы ему уже уходить, но заменить его было некем. Человеком он слыл старательным, работающим, большим специалистом по механической части огромной мукомольной машины, к тому же, умелым отбойщиком камней. Жернова пластали зерно, как пластают на Руси табак по сезону. А Один похаживал, поглядывал важно, как сыплется мука, что-то подкручивал и проходил дальше с удовольствием, будто сам своим сельчанам размалывал в руках суховатое зерно».*

Художественное полотно рассказа «Мельница» включает и описание ветряка, и портреты героев, и повествование о баловстве подростка, который, взобравшись на крышу мельницы, сначала хватался за ее бегущие крылья, а потом, поднимаясь все выше и выше, повис в воздухе прямо над головой мельницы. Это фактически была, рассказ о реально произошедших событиях. Зем-

ляки писателя, читающие книги Юрия Наумова, в один голос говорят о них: «Там все — правда!» Это было постоянным стремлением и задачей автора — ни в чем, ни в одном слове не погрешить против правды. Свои деревенские рассказы Юрий Петрович так и называл — «были из жизни села». Он очень переживал, когда ему сообщили, что одно из описанных им событий на самом деле происходило иначе...

Рассказ «Усердный Тихон» из книги «На просторах земли русской», жанрово смыкаясь с художественным очерком, ярко демонстрирует особенности стиля Юрия Наумова. Это повествование о реальном человеке, имя и фамилия которого не изменены — как ни в чем не изменены описанные обстоятельства жизни героя.

Рассказ состоит из двух частей. В первой описано, как Тихон Родионыч Ярцов, одинокий человек, всю свою силу посвящает церкви: *«Все обрядовые праздники готовил он. Ставил свечи на подсвечники, подливал масло в лампы, расставлял разные приборы, носил просвирки, звонил на колокольне и даже пытался петь на крыльцах, но со слухом было плоховато, поэтому он бегал и бегал по церкви, слушая указы священника и псаломщика, между которыми служил посредником. Много сменялось священников и псаломщиков, еще больше сменялось членов двадцатки и певчих хора, но постоянно преданным церкви оставался Тихон. Передраги светской жизни прихожан как бы и не касались его»*. Безропотный, не вникавший в политику церковных распрей Ярцов удивлялся, как можно в храме настырничать, навязывать свою волю «вместо того, чтобы честно служить и беззаветно выполняя волю Господню». Но вот Тихон Родионыч состарился и обесилел. Начало второй части рассказа показывает нам, как по деревне тихо идет согнувшийся человек, «которого земля так сильно теперь тянула к себе, что он уже не мог свободно вздохнуть и поднять голову уверенно

у гордо, как это делал раньше». Тихон Ярцов идет к местному мастеру соломенных крыш — он упрашивает починить свою крышу, которая протекает. Тихону Родионычу дают свежеспеченный хлеб, спрашивают, есть ли еще у него дома продукты. Он отвечает, что есть, признается, что если ему уже дали — он обязательно об этом скажет, не утаит. И все повторяет: *«Ты крыл, Ваня, мне уж... Теперь ведром льет... Разь, Ваня, я когда ты обижал? Ваня, обижен не будешь! Вот при матери говорю. Целую десятку дам...»* Сейчас этот некогда бойкий церковный служака уже не нужен был никому. Не знали его новые священники, и только люди, сохранившие почтение к этому человеку за его преданность вере, незлобивость, скромность, помогали ему кто чем мог.

О публицистическом начале в произведении говорят тогда, когда писатель не ограничивается выражением своего понимания действительности через художественные образы, но и непосредственно заявляет о своем к ней отношении. В конце рассказа «Усердный Тихон» автор прямо выражает свой взгляд — и не только на героя: *«Вместе с церковью, отделенной от государства, хирела и деревня, объединенная с другой в более обширный колхоз. Деревня благородно давала государству хлеб, масло, мясо, тянулась, подобно Ярцову, из последних сил, старалась, надеясь, что и ее когда-нибудь поймут, будут гнать деньги... не на олимпиады и дачи с санаториями, а станут строить деревни, где труд и отдых будут идти рука об руку. Людям села надоело трудиться без денег; они видели, что приезжим наемным работникам платили за два месяца больше, чем им за год; сельчанам становилось обидно, и молодые убежали, а старые постепенно уходили из жизни. Умирала деревня, умирало прошлое, расцветали города, испаряя асфальтовую гарь. Там усердно долбали и переделывали асфальт, а в селах машины выбивались из сил на ухабах»*.

Публицистичность прозы Юрия Наумова является органической частью его идейно-образной системы.

Закончить хочется воспоминаниями о Ю.П. Наумове учительницы Инжавинской школы Тамбовской области О.А. Краснослободцевой: «Юрий Петрович находил свое творческое самовыражение в писательской и журналистской деятельности, в педагогике. Когда он бывал у нас в школе, мне не раз приходилось беседовать с ним, и всегда после разговора возникало желание тоже приобщиться к чему-то большему, что-то изменить, пересмотреть, перечитать. Недавно я с удовольствием познакомилась с книгой Юрия Пет-

ровича "Россыпь на полотне села". Я подумала: "Какое удивительное название!" Прочитав книгу, я поняла, что ее мог написать только человек с трогательным сердцем и чистыми мыслями, искренне любящий людей и необыкновенную природу нашего края. Не каждый человек, пришедший в эту жизнь, стремится развить заложенные в нем таланты, но только сильный в своем стремлении и желании, не останавливающийся перед трудностями и видящий конечную цель. Таким был Юрий Петрович Наумов».

Ольга МИТРОФАНОВА,
кандидат филологических наук

МЕЛЬНИЦА

В этот сильно ветренный день деревянная мельница, черная от дождя и ветров, местами заросшая зеленоватым мхом, махала крыльями необыкновенно быстро, раздольно. От ветра она набирала скорость и силу, жернова размалывали зерно легко, что доставляло приятное ощущение мельнику Ивану Ефимовичу Одину, к которому селяне спешили со всех концов на подводах и машинах. Мельник Один, как это ни странно, был человеком истощенным, но скорее от чрезмерного употребления вина, чем от недоедания. Согнувшись и подкашливая, он расхаживал около жерновов, поглядывал за ходом работы. Шапка его, вся в мукомольной пыли, свернулась набок, шуба — тоже белая от муки — неуклюже, наискосок висела на его тощих плечах. Острый нос Одина был забит мукой.

Старая мельница при каждом сильном порыве ветра скрипела, будто ее выворачивали вместе с камнями. Крылья крестом, как ошалелые, рвали воздух. Иван Ефимович не обращал внимания на скрип, потому что привык к ветру, привык к скрипу, как привык к спиртному, которое ему доставляли ежедневно за своевременный помол. Глаза его, мутные и совсем выцветшие, смотрели безразлично, хотя на душе было тепло после выпитого. Глубоко изнутри желтоватого безжизненного лица Одина, изнутри его впалых щек проглядывал неестественный румянец. Даже вино не могло выдавить краску жизни из этого человека, страдавшего чахоткой. Мельником Один работал очень давно, мельница стала его вторым домом, тут приходилось проводить целые дни, а иногда и ночи: Иван Ефимович отбивал, поправлял, ладил старые крепления и жернова. Здесь, на мельнице, он получил туберкулез, и пора бы ему уже уходить, но заменить его было некем. Человеком он слыл старательным, работающим, большим специалистом по механической части огромной машины, к тому же умелым отбойщиком камней.

Жернова пластали зерно, как пластают на Руси табак по сезону. А Один похаживал, посматривал важно, как сыплется мука, что-то подкру-

чивал и проходил дальше с удовольствием, будто сам размалывал в руках своим сельчанам суховатое зерно.

Проходим со стороны мельница напоминала девушку-горянку в черном платье, с кувшином, у которой до самой земли заплетена и закреплена коса, чтобы не растрепалась красота на ветру. Голова мельницы подвижна и направляется каждое утро по флюгеру. Раньше выставляли подвижный купол Один приглашал крестьян, но потом приспособил механизм и сам поворачивал его свободно в необходимое положение, чтобы не перечили крылья ветру.

Сегодня людей на мельнице было не так много, но потихоньку прибавлялось. Дед Матвей, высокий бородатый мужчина преклонных лет, приехал сюда с внуком Андрюшей — краснощеким курносым подростком. Андрюша крутился, мешал мужикам. Несколько раз он попадался на глаза Одину, но тот словно не замечал парня. Иван Ефимович употреблял очередную порцию нюхательного табака, набивая острый нос, и продолжал так же ровно, спокойно свой обход. Андрюша долго бегал по лестницам, а потом проник наверх, что было запрещено делать даже взрослым, но после снова спустился вниз. Парнишка с интересом бегал около шумно говорящих жерновов, осматривая их немного по-другому, чем мельник. Ему было все здесь в диковинку, и он даже забыл, что приехал сюда с дедом, который сейчас засыпал пшеницу из мешков для помола. Парень подпрыгивал, скакал, не обращал внимания на то, что дед занят делом и уже выгребает жилистыми руками муку, подставив мешок к желобу, а баранья побелевшая шапка нахлобучилась деду на глаза. Для Андрюши мельница — вроде игрушки, значения которой он до конца не понимал, как и дела деда. Дома они имели свою мельницу и, когда не было муки и ветра, крутили зерно на ней, но мука выходила с частицами неразмолотого, дробленого зерна. Андрюша не раз видел, как после такой ручной работы уставший дед Матвей становился сырым: по щетинистой седой бороде и усам, по упрямым чертам лица текли ручьи пота. Видел Андрюша, как отбиваются камни, которые не были закрыты у них, как здесь, на мельнице. Но на ветрянке все необычно: камни загадочно закрыты и придают другой вид помещению. К тому же тут ничего не крутил дед, а только поправлял мешки около желобка.

Андрюша мешал взрослым людям, его старались усадить, но он скользил между ними. Набирая скорость, вверху привлекательно скрипели от ветра крылья мельницы. Огромные усилия им приходилось испытывать на своих плечах. Андрею надоело скакать тут, внизу, на одном месте, и он снова, уже гораздо смелей, стал посматривать в люк, а потом и вовсе, почти не осторожничая, залез по лестнице на крышу, все ближе и ближе подходя к вращающимся крыльям. Скоро он до того осмелел, что перестал опасаться. Ребячья лихость верх берет над страхом, который появляется гораздо позже разумных размышлений. Паренек хватался за быстро бегущие крылья, отпускал их и снова цеплялся. Когда он освободил руки, его отбрасывало назад, и это было особенно интересно. Ему нравилось кататься, никто не мешал этим играм, а потому он поднимался все выше и выше. И вот угловатое тело Андрея неряшливо повисло в воздухе. Он радостно посматривал по сторонам, не видят ли его, такого отважного, сверстники, но вокруг, как на грех, никого не было. Андрею очень хотелось дерзнуть перед товарищами. Забавляясь катанием на ходу, Андрей так увлекся, что не успел и опомниться, как оказался наверху.словно на чертово колесо занесло его. В глазах все помутнело, сердце сжалось

в комок, а сам он впился в крыло руками и ногами так, что трудно было бы даже силой его оторвать. Говорят, в испуге человек замирает. Андрей ничего не видел. Если раньше ему казалось, что крылья очень быстро поднимаются вверх, то теперь они для него словно остановились наверху и стоят ждут, когда Андрей устанет и упадет. Руки и ноги онемели. Мельничное крыло перевалило за ту самую высокую точку, когда парень повис прямо над головой мельницы, словно вцепившись в гриву вздыбленного коня. Теперь Андрей кроме страха и ужаса ничего не испытывал. Глаза его остановились. Низ мельницы казался где-то там, далеко, совсем не игрушечно. Чтобы осознать это, потребовалось несколько секунд, но иногда по неописуемым законам человеческая мысль пронесит нас через многие годы, через большие пространства и расстояния, как во сне. Точно такое же ощущение было у Андрея. Руки его, придавленные неестественной силой, расплоснулись на крыле, ноги онемели и стали такими тяжелыми, будто на них привязали тяжелый-претяжелый груз. Андрей слегка перевернулся и опять стал приближаться к низу. От осознанного страха он неожиданно закричал во весь голос. Румяное лицо искривилось в гримасе.

В это время шли из школы ребята и оглянулись, что они не поверили своим глазам, увидев, что делается с Андреем Ваньковым, и, задрвав головы, разинув рты, встали неподвижно. Ребята не могли понять: то ли мельница крутится в обратную сторону, то ли парень летит откуда-то не оттуда. В это время почти у самой крыши Андрей освободился от скованного состояния, когда человек наэлектризован и держится не на своей воле. Сейчас сцепление было нарушено. Андрей отпустил руки и полетел в сторону. У парнишки екнуло что-то внутри, глаза расширились, но теперь ему было все безразлично — лишь бы удачно приземлиться. И он, кажется, приземлился удачно, раз чувствовал себя живым, хотя изо рта бежала струйка крови. Его отбросило сравнительно далеко от размаха крыльев, хотя он остался все же на крыше, и это спасло ему жизнь. От испуга он долго лежал не двигаясь. Ребята позвали взрослых.

— Андрей, сынок! — кричал, вылетая на лестницу, всполошившийся дед Матвей. — Жив ты?

Андрей пошевелил головой, но встать не мог. К крыше его почти так же приковало, как к вращающимся крыльям. Дед схватил внука сильными натруженными руками и прильнул к нему бородой, но теплая кровь встревожила старого человека.

— Что это, Андрюша? — закричал дед.

— Язык, деда, прикусил, — пробормотал Андрей.

— Жив, сынок? — спросил дед.

— Жив, дедуля, только высоко слетал.

— Озорник ты! Бестия! Вот что тебе скажу. Выдрать бы тебя!

— Не надо, — растянута ответил перепуганный внук. — Так страху понабрался.

В это время Иван Ефимович Один перекрыл движение мельницы и даже повернул в другую сторону крылья, которые постепенно замедлили ход. Теперь он поглядывал в люк, продолжая нюхать табак.

Весть о случившемся сразу облетела округу. Ребята восторгались храбростью Андрея, а взрослые приводили как пример непослушания, но и этот пример вызывал восхищение. Долго еще ходили легенды о парне, обрстая рассуждениями.

САДОВНИК

Бывает так, что местность позволяет разводить овощи, зерновые, подсолнечник, и живут люди из года в год, кормясь ими, не особенно задумываясь над тем, что можно посадить фруктовые деревья и ягодные кустарники, которые дадут яблоки, смородину, вишню. «Нужны руки», — скажут. Да. И не только руки, но и голова, чего недостаточно тоже: можно и с хорошей головой загубить сад; прежде всего, нужно сердце не просто с любовью к яблокам или вишне и с желанием наесться вдоволь, а с любовью к самому разведению — тревожное сердце, которое бы жило садом. Сад требует ухода, подобно ульям с пчелами, когда мед можно получить сполна, если знаешь жизненные секреты пчелы и умеешь с ней сговориться.

Сад украшает местность. Божественно в саду весной: он всегда пробуждал в утонченных душах стремление ощутить нечто такое, от чего бы запела душа, стремление разбудить в себе то, что спало.

Скупа, скудна иногда местность от одного того, что человек живет по инерции, боясь прикоснуться к земле или боясь заняться на ней вплотную каким-то большим и серьезным делом.

Есть человек, который украсил своим садом дом, а прежде — колхозным садом целую округу. Это Александр Иванович Малышев из Турковского района Саратовской области, из села Студен-Ивановка. Он оживил все вокруг: росли, цвели и плодоносили деревья, появлялись питомники, любители.

Что за человек А.И. Малышев? Прежде всего, Александр Иванович заражен садоводческим делом. Оно ведь так: если умеешь что-то делать, стремишься, то получается и тянет к делу, а если еще результаты есть, то и вовсе начинаешь планы строить, хозяином себя чувствуешь, особенно когда доход появился, — тогда понимаешь, что не зря работаешь, ибо тебя уже ценят, ты уважаем, везде принят, а главное, благодаря тебе оживает вокруг природа и украшается местность.

Александра Ивановича я хорошо знал. Он дружил с моим дедушкой Емельяном Петровичем Савиным, у которого я год жил, когда меня исключили из сиротской школы. На мне в доме деда лежали обязанности водовоза, а по совместительству я учился в школе.хлопотное дело — обеспечить мальчишке водой десятка полтора овец, коров, коз да годовалого теленка. А.И. Малышев часто ходил к нам. Они с дедушкой говорили о жизни, а баба Вера все больше старалась угостить Александра Ивановича. Его вообще старались угощать; он — человек дела: то дровишек у него в саду до зимы можно запасти, то участок под сенокос он отведет, а уж о саженцах разговора не было — это само собой.

Их было два брата — Андрей Иванович и Александр Иванович. Могучие русские мужики, рослые, широкоплечие, с открытыми чертами лица, с лукавинкой в глазах. Такие обычно стояли за село в кулачных боях. В Студен-Ивановке были силачи и даже моряк с крейсера «Варяг», уже дедушка... Так что знаменитости встречались. Александр Иванович не знал большой славы, не преобразил полмира, как Мичурин, но облагораживал землю. Он жил всегда в своем селе, редко выезжал, разве только увозили его в лагерь, кажется, года на три, когда он поссорился с медработником, — все бывает в жизни.

А.И. Малышев говорил только о саде. О том, что рабочих не хватает, что к делу относятся очень плохо, что зимой одному ему нужен сад, зато

когда поспевает урожай — едут все с арбами. Он возбуждался, кипятился, и никакие успокоивания бабы Веры, которую он звал Верой Ивановной, не действовали. Он по-настоящему болел своим делом. Я часто ходил гулять в его сад, когда были сделаны уроки и привезена вода. Там всегда тихо, только птицы летают стаями. Так случилось, что я был чужим на этой земле. Меня многие знали, но держали на расстоянии, ребята и девчонки с осторожностью принимали играть. Вот я и забивался в сад, который начинался через три дома от нас. Около сада жил юродивый Володя Гуськов. В каждом селе было тогда не по одному дурачку. Для людей это диковинка в виде развлечения, для родителей — мучения. Володька жил на свете, гулял, а его отец и мать терзались и радовались единственному дитяте, потому что потеря сына была бы для них страшнее, чем его болезнь.

Так я и пропадал в саду, который оживляли руки Александра Ивановича. В саду он жил круглый год. Весной и летом с утра до вечера обрезаю что-то, выкорчевывал старые яблони, занимался саженцами, садил новые сорта, давал указания. Дело шло. Сад был для Малышева театром, где он горел, стараясь выложить все, что есть за душой. Его ругали, снимали с должности, ставили другого — и дело не клеилось. Распоряжения давались хорошие, а уважения к саду не было, не тянулись к саду люди, ходили в нем невольниками. И опять Александр Иванович входил в сад. Деревья оживали — и люди вокруг них.

Часто приходилось ему схватываться с нерадивыми работниками, а то и с губителями плодовых деревьев, были скандалы, драки. Неумолимый Малышев человек. Острые черты обветренного и обгоревшего лица с огромным породистым носом напоминали скорее музыканта, чем садовода; и только теплые глаза в моменты отдыха, добродушная улыбка да потрескавшиеся руки с черными бороздками говорили о том, что это земледелец. Но он был садоводом. Сама простота, искренность, но и гордость — не та, которую путают с заносчивостью, а гордость за свой труд, за свои умения.

...Однажды он умер. Нельзя поверить, чтобы такие люди вообще могли умирать. Зачем им умирать! Жили бы да жили на земле, облагораживали бы ее, грешную, но вот беда: и у садоводов короткий век. Война, тюрьма, беспокоество о саде подкосили А.И. Малышева. Студен-Ивановка тоже стала вымирать — механически, по ряду причин, прежде всего связанных с укрупнением колхозов, когда стали смещать села. Поступившее сверху решение не отводило внимания населенному пункту, а ведь человек любит внимание к себе и тому месту, где живет.

Вымирает деревня, разъезжаются люди, валяются дома, остаются чакнуть беспризорные сады в одном из самых замечательных уголков на окраине Тамбовской и Саратовской областей. Сад же Александра Ивановича еще держится, крепко держится, как крепко врос в него когда-то А.И. Малышев. Я часто езжу посмотреть на этот сад, поесть яблок, вспомнить детство. Недавно узнал, что Александра Ивановича похоронили на общем кладбище, а я думал, что он лежит в середине сада и над ним веселятся цветы, листья, плоды и птицы.

СУДЬБА

Обстоятельства сложились так, что заставили Емельяна Петровича Савина, коммуниста и первого в одной из саратовских деревень сельского председателя, поверить в судьбу. Это был невысокого роста очень опрятный старик. Он слегка прихрамывал. Голова Савина белая-белая, буд-

то и не седа даже. Вот она злая пак и стала предметом перемен: в его судьбе. Человек это был рассудительный, спокойный. И не к старости лет, когда утихают страсти, а так сложился характер. У него осталось много детей от умершей первой жены, и приходилось их воспитывать; потом он женился на Вере Ивановне, и от нее еще больше пошло ребятишек, и в основном все девочки, сын родился один — его потом убили на фронте в войну.

Жил дед Емельян в разных местах. Исколесил почти весь Турковский район Саратовской области, в каком только конце не знали его, и было за что! Савин умел клеить калоши, а они тогда дефицитом считались; разговаривать, и подолгу, мог с любым человеком, когда был свободен. Теперь он жил в Студен-Ивановке, куда приехал в свое время к дочери Гале. Она учительствовала в селе Блинохватовке, но к ней явился муж, которого Галя в войну потеряла: он остался по месту службы с какой-то женщиной, однако после демобилизовался в звании майора и осел в городе Камышине Волгоградской области, куда увез дочь Емельяна Петровича. Вот и остались старики дома одни. У деда было большое хозяйство. Коровка, овечки, козы, держал он и свиней, куриц, гусей. Все надо. Хлопот хватает по двору.

Человек Емельян Савин был благородный, любил хорошо одеться и сладко поест, но и трудился. На своем огромном огороде сеял просо, коноплю, садил разные овощи. (К слову сказать, с давних времен русские делали из волокон конопли веревки: мочили растение, сушили, мяли и затем пряди пеньки свивали в несколько рядов и соединяли в веревку.) Был дед незаурядным мастером столярного дела и имел шикарную мастерскую. Редко когда возвращался из райцентра без инструмента слесарного, столярного. Притом, всегда покупал авторучку новую, карандаш, записную книжку и пряники с конфетами. В его кожаной куртке постоянно были конфеты. У него когда-то наблюдался порок сердца, и он сначала поддерживал свое сердце, а потом привычка выработалась носить с собой сладкое.

Деревянный высокий крытый камышом дом Савиных состоял из трех комнат, прихожей с верстаком, на котором дед Емельян работал и клеил калоши. В их доме имелась горница, в ней стояло инжирное дерево, под которым спал на раскладушке внук, когда целый год жил у деда с бабушкой. Подтянутый, Емельян Савин ходил в коричневой фланелевой рубашке, подпоясанной черным кушаком. Рубаха всегда находилась поверх темно-синих суконных штанов или теплых брюк в холодное время года. Зимой дед надевал дубленую куртку, в районный центр ездил в тулупе. В походе Емельяна Петровича можно заметить не заносчивость или высокомерие, а достоинство. Держался он ровно, и ему было чем гордиться. Он умел все. Несмотря на свои физические недостатки — при рождении одна его нога оказалась короче другой, — он развил способности к трудовой деятельности и считался лучшим мастером в округе.

Вера Ивановна варила еду и топила печку, гнала самогонку. Она тоже все делала по своей линии, да и нельзя было жить в селе иначе. Баба Вера готовила отменные щи с мясом, капустой, перцем и приправой томатной по всем правилам русской народной кухни. Для деревни ее щи были определенной находкой. Вряд ли кто еще на деревне готовил так, как она. Вера Ивановна старалась для мужа. Ругались они редко, но это бывало, и даже внук удивлялся, как баба Вера может вынудить такого спокойного человека на злопахательство, когда он заявлял: «Ну, мать

твою душу, завелась!»; махал рукой и требовал кончать. Бабушка слушала его и побаивалась. Хотя он ни разу не бивал ее, но все равно мог раз и навсегда проучить.

Сын Василий был десятым ребенком в доме Емельяна Петровича, и отец возлагал на него большие надежды. Парень воспитывался таким же скромным человеком, как и его родители, окончил семь классов, пошел в офицерское училище, и вот тебе загремела война. Юноша ушел, как и все его ровесники, на фронт, но вернулась только повестка о том, что Василий Савин погиб. В доме часто говорили о нем, не раз задумывался дед над судьбой ничего еще не видевшего молодого офицера, жизнь которого оборвалась в ангельском расцвете, когда он не имел за душой ни семейных ссор, ни недовольства. Когда дед писал бумагу о помощи в районный комиссариат, всегда сидел по целым дням, а то и неделям. Писанина ему давалась трудно. Он выводил, а вернее, рисовал большие квадратные буквы, находя смысл и подход к военным чинам, которые, как правило, привыкли к сладкоречию или плаксивости. Деду отвечали с почтением, и он всегда гордился сыном, советским офицером, погибшим за Родину в 17 лет, гордился тем, что обращают внимание на старого человека и помогают деньгами. Емельян Петрович получал приличную пенсию, жил по тем временам довольно хорошо, хотя село бедствовало после войны. Он жил хорошо, потому что промышлял, умел клеить, столярничать, а баба Вера умела гнать самогонку. Деда Емельяна уважали за разговорчивость, обходительность. Человеком он был внимательным и добрым. Никогда не ругался матом, кроме «мать твою душу!»

Внука Емельяна Петровича исключили из школы перед самым Октябрьскими праздниками после смерти Великого вождя: сначала он Сталина обругал, а потом и вовсе принес березу в класс на урок. Внука попросили из школы, и вот он оказался у деда. Возил воду, клеил подневольно калоши и учился в школе. С увлечением только воду возил, так как в этом деле не надо было думать, а только физически развивать себя. Дед почему-то считал, что внук может стать богатырем, будет защищать людей силой, и никогда не помышлял о том, что умом гораздо больше можно защитить и вернее. Этого сына их дочери Прасковьи дед Емельян и бабушка Вера не очень жалели, потому что любили других внуков, которые были более послушны, более вежливы, а этот — словно дикий, в нем было что-то от стихийного ветра природы. Может, старики не любили его потому, что им не нравился зять, а взяли к себе его сына не столько как помощника, сколько просто не хотели огорчать дочь, которая и без того перенесла много невзгод. У нее только выздоровел муж после сумасшествия. Дед Емельян и баба Вера взяли внука к себе в деревню на обучение, к тому же директор школы был их знакомый — он дружил с их дочерью, даже собирался жениться на ней, но взял другую женщину, — вроде бы дочь не пошла за него. Об этом дед вспоминал с гордостью.

В школу внука Емельяна Савина принимали чужаком, часто плевали племянники жены директора ему за шиворот, но мальчишка держался. Нельзя было и отсюда уходить, некуда было идти, а работать еще рано. Внука защищал только сын садовника Володя Малышев. Жизнь была несладкая, приходилось стоять за себя, но не до конца. Конечно, личные счеты сводились женой директора. Внуку Савина дали «хорошую» характеристику в прежней школе, и этого было вполне достаточно для педагогов, чтобы не снимать с него бремени вины и здесь, хотя теперь он во много раз вел себя спокойней. Играли ребята после уроков в войну, прятки, в

снежки, а однажды вырыли себе окопы. Но в этих окопах его засыпали золой. Что ни вытворяли ребята и девушки по отношению к нему — пожаловаться нельзя было, побить — тоже. У них в деревне родные мать, отец, братья, а у него один дед, и то хромой, к тому же, очень строгий, не любящий драк.

Как-то один раз, когда внук с душой помог деду Емельяну, тот, при добром настроении, начал рассказывать ему о прошлой жизни. Дошли и до революции. Емельян Петрович стал уверять внука в том, что у человека есть судьба, и привел пример, который изменил его понимание жизни. Начал издалека.

— Одного умного человека спросили в тюрьме: «Есть ли бог на земле?» А ты что думаешь об этом? Есть? Нет? — дед решил в первую очередь услышать ответ внука.

Тот не знал, что сказать. Ему не хотелось обидеть деда, а потому он молчал.

Емельян Петрович продолжал:

— Умный человек коротко ответил: «Нельзя сказать, что бог есть, но и нельзя сказать, что бога нет. Есть сила, которая управляет нами».

Конечно, эту мысль выразили гораздо раньше, чем считал дед, но ему понравилось то, что именно умный человек говорил такое.

— А вот теперь посмотри, как дело было в наше время. Ты книжки читаешь, что в революцию убивали белые красных, а красные — белых, и синим попадало. Но дело тут не в том. Только принял я сельсовет — меня поставили на этот пост как грамотного человека и самого смиренного, — и вот тебе залетают в село белые и начинают рубить людей. Ищут власть, конечно. А я еще только печать взял на свою шею. Ну все мы — в скирды прятаться. Белые — туда. Солома горячая от солнца. Штыки снуют меж ребер, рядом люди только охают и выпускают дух, грея кровью и без того раскаленную солому. У меня под боком ходят штыки то и дело, мать твою душу, аж за сердце берет, а в меня не попадают. Волос дыбом. Вылез после, глянул в зеркало дома и не узнал себя. Сначала думал, солома налипла на голову, а потом вижу: нет, седые стали волосы. К белым я не пошел. Так и остался в красных, в Совете заседал, даже направляли в Москву на съезд, и может, там бы и остался, как Калинин был бы. Он из рабочих поднялся наверх, а я село бы представлял. Но моя Вера Ивановна воспротивилась. «Ты, — говорит, — бросишь меня, когда к большой власти попадешь». Остался на селе, а так бы где-нибудь в ЦК заседал. Но речь сейчас не об этом. Судьба спасла меня от штыков, когда рядом кипела солома от живой человеческой крови, в которой цвет моих волос стал кипельно белым.

У внука не было аргументов спорить с дедом. Да и стоило ли переубеждать старого коммуниста, первого в нашей округе председателя сельского Совета, что судьбы нет? Разве в том дело! А дело в том, что сын у него погиб, а дед жил, столярничал, клеил потихоньку калоши и помогал внукам.

ОТБИТЫЕ ПАМОРКИ

С ума сошел отец в лагере. Свели. Там кого хочешь сведут. Днем он почувствовал себя плохо, несколько раз говорил не по порядку: то к ряду начнет толковать о детях, то завернет куда-то в сторону. Потом зашел в дежурку. Здесь он обычно варил себе кашу из отходов, которые готови-

лись свиньям. Жарил дохлых поросят. Он был в лагере ветеринаром. Вот и в этот раз поел дохлятинки с кашей, покурил. Забыв прикрыть дверь, уснул. Крепко уснул. Кто-то позабавился газком. Отец встал угорелым, заходил туда-сюда, заложив руки за спину, потом встрепенулся и вышел. Он был расконвоированным, его положению завидовали.

До поры и до времени отец работал в лагере исправно. Военная закалка помогала. Пока не появился родственник начальника лагеря. Его надо было пристраивать. Но для такого события необходимо было избавиться от специалиста. Кому они нужны в местах не столь отдаленных! Там и людьми не нуждались. А тут лечить свиней и кашу для них варить... Люди голодали. А отец ел кашу до отвала. Привилегия. Вот и создали условия для побега. Да и срок заканчивался. Вояк старались держать под прицелом. Защищать родину — одно, другое дело — защищать интересы власти тут, на гражданке. Отца сунули в лагерь под шумок. А коль попал — сиди. Вот и сидел. Кашу варил. На фронте командовал людьми, а тут — свиньи.

Недавно к ветеринару приезжала жена, теперь отцу виделось свидание с детьми. Его, будто перекаати-поле, легко несло за стенами лагеря, а в это время ветеринара уже искали. Сделано все было проворно. Бежал недалеко, но шума было много. Отца выгнали с должности. В это время он встретил в лагере человека, который его посадил. Отцу предложили убить его. Закон такой тюремный. Этот приказ он выполнил отказался, за что должен был пострадать уже сам. Скоро отца определили в карцер. Как-то поздно вечером запустили «уток». Один — в рубашке сумасшедшего, другой — похожий на легочника, третий — с распоротым животом. Кого облюбуешь — тот тебя и сработает. Ударил ветеринара парашей тот, кто был вне себя. Глаза отца смотрели и не видели, а мысли — разные и страшные — неслись бесконтрольно. Нерв как бы отключил тормоза. Сознание закружилось вначале сильно, а потом осеклось. К фронтовому ранению прибавилось еще одно. Фашисты ногу сбедили, свои — голову.

Крик в камере разбудил спящих в лагере. Чтобы не создавать суматохи, ветеринара, всего в крови, вытащили из камеры и доставили в санчасть. Врач спокойно перевязал его и оформил сопроводительную в дом умалишенных. От механического удара по голове отец сошел с ума. Никто в произошедшем разбираться не стал. Штрафник на войне, а раз так, то и вина сама пришла. Беда одна не ходит. Сначала семью ударила судимость отца. Фронтвик, орденносец Красной Звезды, представлялся к званию Героя Советского Союза, а стал зэком. Теперь бедой семьи стало сумасшествие отца.

Еще не зажила рана, а отца в больнице уже зажали под койку. Везде нужна сила, чтобы стоять за себя. В общей палате психоневрологического диспансера выбивали последнее сознание, которого и было-то уже мало.

Врачи известили родителей и жену о положении дел, предложили ходатайствовать, чтобы с отца сняли судимость, тогда можно будет перевести его в отдельную палату. Родные стали хлопотать. С отца сняли судимость, в больнице перевели в палату для офицеров, а затем и лечение подходящее назначили — электроток. Отпускали домой почти мертвого. Синий, обтянутый кожей, он ел дома одну тертую картошку на постном масле.

Подозрительность развивалась и росла в отце. Не терпел он лекарств. Бил всех, кто подсыпал их в еду, надо было умело их давать. Настигал родных людей и с каким-то остервенением вонзался в них руками, как острием граблей.

— Суки, я вам поелочу! Враги! Звери! Я вывьялю из вас стремление к лечению, — говорил отец по порядку, но в том русле, на котором сошел с ума, хотя это произошло от травмы физической...

Дети теперь для него тоже стали «врагами». Особенно сильно он до­нимал Натольку — так звали в семье старшего сына Анатолия.

Как-то оставили дома детей с отцом одних. А ему захотелось насла­диться детским плачем и болью. Улыбаясь, отец схватил рогач и погнался за Натолькой. Все остальные дети разбежались. Натолька испугался, пробежал мимо двери и врезался в зингеровскую ножную дедову швейную машинку. В стойку ее, которая держала ось вращения. Натолька трясся, а отец тыкал рогачом в него:

— А-а, попался бес! Хотел улизнуть, — говорил он и давил в самые больные места сына. Чем сильнее мальчишка плакал, ощущая боль, тем сильнее отец заливался смехом. Его поджигали боль и крик.

Из-под машинки Натольку вынула мать. С этих пор у него будто об­резали память, хотя понимание усилилось. Он видел умом удивительные находки, но тут же забывал их. Ему всякий раз заново приходилось ре­шать одну и ту же задачу. Здесь, на юго-востоке Тамбовщины, об этом говорят: «Отбитые паморки». Учился Натолька плохо и с каждым годом все хуже. Чем хуже он учился, тем меньше его тянуло в школу. Как буд­то бы уйдя на занятия, он шел к Симе Дуськиной, местной красавице, забираясь с ней на печку или они останавливались у скирдов, а потом, прокуртивши время, возвращались домой словно после уроков. Никто в школе не знал, что у этого ученика дома. Вернее, слышали, но думали, что им нет до этого никакого дела. Главное, чтобы урок был выучен. С таким подходом забивали голову претензиями, вызывали и ругали мать. Но дело не двигалось. Мальчик мало учил, был замкнут.

А отец, расходясь все больше, наконец, выгнал семью из дома. Ел за всех один. Стал сильно поправляться. Скоро почувствовал силу. Семья жила у соседа Лазарча, прямо на полу, как цыгане. Отец редко кого к себе пускал, за исключением местного ветеринарного санитаря, которого на­зывали в округе то Бандитом, то Фашистом за то, что он служил полицаем в плену. Редко отец куда ходил. Был занят домашними делами. Даже топил сам, сам пек хлеб.

Он особенного ничего не делал. Просто налетала страсть поиздевать­ся над близкими людьми. То ударил свою мать граблями — откачивали на простыни на ветру несколько часов, то попало опять старшему сыну — что-то сказал или показалось, мало ли что придет в бредовую голову! Отец схватил топор и хотел изрубить Натольку на части. Тот с криком бросился от него, долетел до речки, переплыл ее и оказался уже в Саратовской области или, как здесь говорят, на Саратовской стороне. Там хотел затерять следы. Но на миг опомнился, вернулся домой пот­ный, лег и уснул.

Летом, после того как отец зарезал косой телка и решил отрезать вымя корове, пригласили дядю Гришку Князькова и дядю Николая Наумова, братьев нашего деда Тимофея. Вместе с дедом они решили отпра­вить отца на очередной курс лечения в Тамбов.

Поздно вечером отца уже караулили. Отправили мать будто бы отвя­зывать корову. Отец с пехтелем стал выходить из дома. Пехтель — дубо­вое приспособление с ручкой посередине, которым толкут просо, чтобы получить пшено. Но не успел отец выйти, как на его плечах повисли дед и его братья. Отца связали, хотя он и сопротивлялся, укусил деду руку.

Мы, ребяташки, сочувствующе смотрели на отца и прощали ему все, когда он с жалостью просил:

— Не возите меня в Тамбов. Я больше не буду.

После нажима отец сразу становился сговорчив, податлив. Но дед был неумолим:

— Надо, Петруха, подлечиться. Тебе будет лучше, вернешься.

Отца увезли в больницу. Борьба за его рассудок велась не один день. Он то сходил с ума, то вновь приходил в себя. Его отпускали из больницы домой, чтобы семейная обстановка повлияла. И семья влияла. Но как с этим влиянием было жить детям? Жили, терпели, но не бросали на произвол судьбы. Инвалид пришел в себя, пошел работать ветеринарным санитаром, но не в колхозной бригаде села, а по населению, то есть лечил скотину личных подсобных хозяйств. Лечил наверняка. Учили его ветеринарному делу все-таки в военных условиях. Надежно. Так вновь стал отцом, ветфельдшером и гражданином. Его награждали как участника, инвалида войны, орденосца. Он говорил о себе, что прошел три института — войну, тюрьму и сумасшедший дом. Но лучше бы этого образования не было. Детство семи его сыновей и дочерей было погублено. Хотя об этом мало кто думал и плакал. Все шло, как у всех. Тогда в каждый дом страны вошла беда.

Анатолий же прокрутился три года в восьмом классе и пошел на свои хлеба. Вначале работал в саратовском совхозе Сиротском на разных работах, потом ушел в армию. Служил радистом, полюбил радиотехнику, пеленгаторы, локаторы. После работал поммастера на заводе города Камышина Волгоградской области. Трудился Анатолий хорошо, но учебу возненавидел школьную. Никогда не возвращался к книгам. Он как бы одновременно с завистью и отвращением смотрел на них. Потому что умом он мог понять многое. Но память его ограничивала. Нужен ли был ему институт и среднее образование? Он их не имел, хотя голова работала и давала себя знать: его даже хотели взять в суворовское училище. Может быть, строгие условия жизни и вернули бы ему память собранностью. Сам он забывчивость не одолел, хотя одолел несобранность стремлением к порядку. Анатолий умел ладить с людьми. Обладал пробивным характером. Скоро уже работал бригадиром на ликеро-водочном заводе, на его плечах лежал транспортер. Потом стал старшим мастером в горгазе. Только после этого его взяли на пост замдиректора по хозяйству в интернат для детей с различными отклонениями в здоровье и развитии. Там он строил различные помещения, доставал технику. При его усердии росли новые корпуса, появлялись телевизоры. Но зато при этом в интернате росло число детей бездомных, глубоко дефектных от пьяных отцов. Анатолий сейчас делал все как бы в память о своем трудном детстве для тех ребятшек, которые имели отцов, по своей прихоти потерявших лицо и сломавших судьбу потомству.

Анатолий спешил работать, облагораживать больным детям уют, который отобрали у них родители, пропившие свою память, молодость, жизнь и оторвавшие это у своих детей. Многие ребята были где-то рядом с сознанием и памятью, но кто-то вечно жевал наволочки, как неразумное животное молочного возраста, кто-то постоянно ковырялся в земле. Были и такие, кто отвечал добром Анатолию Петровичу: разгружали уголь, слушали его, — и он с сердцем благодарил их. Интеллект Анатолия не достиг высоты, но дело он вел с исключительной искрой. Она божьей звездой горела в нем, унаследованная от двух дедов-мастеров. Мас-

терство, дисциплина и смекалка как бы соединились в Анатолии. Жили в нем и отцовские вывихи, вернее, просыпались иногда и подавляли божий дар, когда он был пьян, но скоро Анатолий и пить перестал. Все у него было подчеркнуто продумано в личном хозяйстве. Такой же порядок был и на территории интерната; он вез груз в два дома — свой и дом глубоко дефектных детей, начиная от самого малого, шариковой или дверной ручки, плитки и кончая тракторами и заборами. Все было предусмотрено и обосновано в рабочем и домашнем хозяйстве Анатолия — каждая деталь, даже закрывашка под гараж. Все в личном дворе его было в абсолютном порядке: розы, кухня, парники, сад и огород. Как бы вся наука была сосредоточена в сердце Анатолия и искала выхода в его отношении к собственному быту, а потом и к людям. Он всегда торопился. Не засиживался. Ездил на собственной машине, изучал мотор. Мог сделать все. Отстроил интернат, построил собственный дом, а потом и дом теще. Всегда помогал отцу и матери, привозя им полную машину продуктов и всего того, что так необходимо в хозяйстве села.

Занимаясь любимым делом, Анатолий пытался восстановить память и сочетать ее со своими умениями, чтобы не образованием гордиться, а той стремительностью и находчивостью, которые могли заменить в работе знание.

УСЕРДНЫЙ ТИХОН

1

Тихон Родионич Ярцов с молодости и до самой старости тяготел к церкви. Верил ли он толком и во что верил, никто, конечно, точно не знал да знать и не мог, один бог ведал; но люди видели, что всю свою силу Тихон посвятил церкви, и потому принимали его за самого преданного христианской вере человека. Все обрядовые праздники он готовил. Ставил свечи на подсвечники, подливал масло в лампы, расставлял разные приборы, носил просвирки, звонил на колокольне и даже пытался петь на крыльцах, но со слухом было плоховато, поэтому он бегал и бегал по церкви, слушая указы священника и псаломщика, между которыми служил посредником. Много сменилось священников и псаломщиков, еще больше сменилось членов двадцатки и певчих хора, но постоянно преданным церкви оставался Тихон. Какие бы передраги ни творились в светской жизни прихожан, они как бы и не касались его.

Ярцов был низкого роста, весьма сухопар. Волосы темные блестели, смазанные лампадным маслом. У него были длинные сухие руки, длинный, но аккуратно поднятый нос. Глаза светились азартом и горели той энергией, которая двигала всем его существом. Был у Тихона Родионича свой маленький дом, но когда-то он жил вместе с сестрой и ее мужем Василием Максимычем, который занимался вышивальным рукоделием на дереве. Вроде бы столяр, но особый. Если у зятя вся природная мощь, весь запал уходили на создание деревянных изделий, то Тихон неутомомно нес свое содержание услужению церкви. Это были не столько крест и труд, сколько было особое состояние души русского человека, оставшееся в нем от дореволюционного времени. Ярцова в округе понимали, принимали и поддерживали, хотя никто и не позволил бы себе глумиться над столь уважаемым человеком, прославившим почти юродивым. Здоровые люди ходили в храм, но не так ревностно служили, как Тихон. Они пели, мо-

лились богу, но жили семьею, селом, колхозными делами. Тихон жил всей своей сутью только церковью. И никакие гонения его не касались. Всех могли взять, всех могли угнетать, но Ярцова бог миловал.

Василий Максимыч удивлял округу разными санями и телегами и своим буланым в яблоках жеребцом, летавшим с такой скоростью, что уступить мог только Тихону. Естественно, автор преувеличивает, но знает, сколько километров измерял Ярцов, с зари примчавшись в церковь и подготовив ее к службе. Тихона прилюдно невозможно было удержать и говорил он на скаку, на лету. Гордился тем, что его никто не тревожит, не отнимая единственной радости — служить церкви и богу. Судите человека или не судите, но Ярцов делал свое дело. И церковь в самые тревожные времена, подобно кораблю, двигалась в своем благородном направлении созидания души человеческой.

Что там говорить об усердии Тихона! Он словно на крыльях летал по божьему храму, удивляя людей и привлекая их. С каким вдохновением Ярцов входил в алтарь, расправляя свою щуплую грудь под синей толстовкой, подпоясанной кушаком! В глазах горели восторг, преданность и умиление. Но когда этот человек шел по селу, то был жалок, чрезмерно застенчив и тих, оттого и пошло — «Тихон». С семьей ему не повезло, зато повезло с вниманием и пониманием. Прихожане церкви Покрова Пресвятой Богородицы называли Ярцова уважительно по имени-отчеству:

— Поставь вот свечку у алтаря, Тихон Родионыч.

Он брал свечу с большим теплом, а ставил в подсвечник — будто укладывал в постель больную мать.

— Тихон, кадило! — коротко требовал поп Серафим.

— Щас, — Ярцов поднимал вверх палец, исчезал в нужном направлении, и кадило с запахом ладана уже раскачивалось и разносило благовоние, дышало синим дымком и, как молоток на отбойнице, звучало в руках священника, который, разбрасывая полы ризы, двигался вокруг иконостасного строения, икон и прихожан, чтобы вместе с дымом вознеслись в небо молитвы людей. А Ярцов уже мчался в другой конец. Он знал весь технологический процесс церковный и помогал вести его предельно аккуратно.

Тихон сумел угодить многим попам, рассуждая: «В церкви священник хозяин, а мое дело — сторона, знай, делай его». Он не вникал в политику церковных распрей, удивлялся, что другие вмешиваются, навязывают свою волю, настырничают, вместо того чтобы честно служить и беззаветно выполнять волю Господню. Этот щуплый длиннолицый человек знал все службы почти наизусть, знал про каждый праздник, когда подать кадило, вовремя разжигал его, тщательно следил за облачением священников, чистил подсвечники, бережно брал и потом укладывал на место церковные книги, любил упоенно рассказывать о церковных делах.

Случайные в храме люди спрашивали: что этот чудака мечется по церкви, как шальной? Они не знали Тихона, а тот не старался выслужиться — такой науки у него в голове не было; для Тихона важно было только, чтобы во время службы все шло хорошо. Его часто и разные священники ругали на всю церковь. Ярцов только убыстрял шаг до бега и никогда не пререкался, не объяснял, что не успел, не смог: он должен везде успевать, везде быть хозяином по части быта. Ему даже платили по разным должностным единицам — то как звонарю, то как сторожу, всегда находилась должность, за которую он получал деньги. Но никто ему не платил за то, что он вел храмовое хозяйство. Тихон, конечно, не покупал

кагора, свечей — денег ему не доверяли, хотя каждый знал, что это самый честный человек и совесть не позволит ему взять церковную копейку, в то время как в храме не только делили деньги, но и воровали. Тихон довольствовался подачками и тем, что даст священник из остатков.

Кроме церковных дел, Ярцов ничего не умел. Знал, что трава растет, лошадь ржет, но не более. Он даже запрягать не умел. Ни к какому рукоделию не тяготел.

— Как же Пасху справили, Тихон Родионыч? — спросил я у него однажды.

— Страстная неделя была хлопотная. Из церкви не вылезал. Охетали все внутри, как хороший хозяин в доме. Нарядили плащаницу.

— Хор-то, хор как?

— Разбойников шибко пели. Артемыч с Аким Иванычем какие были! Молодость напала на них.

— А как там Васенька?

— Какой?

— Псалощник-то, гнусавил?

— Ничего. Хорошо руками махал. Машет, машет так. В лад даже получалось.

— Поп ничего?

— Чего ж ему! Три ведра святой воды на паски истратил. Светил шибко свежо. Брызгает, брызгает... Яиц горы набрал.

— Тебе-то подкинули?

— Не обижают.

— Денег-то, денег, наверное...

— И на церковь хватит.

2

По деревне шел очень старый человек, шел тихо-тихо, согнувшись. Тыкал палкой в землю — видеть, искал твердые участки, но с трудом находит их после сильного дождя.

Я узнал Тихона Ярцова и стал смотреть в его сторону. Вспомнился Родионыч, брат Тихона, который подарил мне когда-то Библию и просил не надругиваться над ней, беречь, переплести; я отдал переплетчику, но тот несколько изуродовал саму книгу, не сохранив ее первоначального вида. Степан Родионович всю жизнь работал в колхозе. Он умел делать все от шорных работ до сапожных. Шил хомуты, подсеивал семена. Это был коренастый старик с крепко сидящей тяжелой лысой головой. Грамотишка обошла его, но ума хватало делать работу с душой. В Бога он не верил, в черта — тоже. Но раз его напугала русалка: соседская обнаженная баба выпрыгнула из кустов. Родионыч был всегда спокоен и умел шутить, но не терпел нахалов, пьяниц и бил их либо палкой, либо бадиком. Потому, косо оглядываясь, проходили мимо его дома редкие безобразники.

Тихон Ярцов приближался, а я смотрел и смотрел на человека, которого земля так сильно теперь тянула к себе, что он уже не мог свободно вздохнуть и поднять голову уверенно и гордо, как это делал раньше.

Я сидел на дровах у нашего соседа Николая. Николай пилил.

— Что, Тихон Родионыч уже не ходит быстро по церкви? — кивнул я в сторону проходившего.

— Силов нет.

— К кому он идет?

— Видать, к Ване. Тихон Родионыч часто ходит к нему.

— Что общего у них? — удивился я.

— Ничего, — твердо ответил Николай и посмотрел на меня внимательно, с хитринкой, исподлобья. — Дом хочет купить — вот и ходит. Его тут самая Санечка, которая запирается на пятнадцать замков, чуть не удушила в сторожке.

— За что?

— За деньги.

— И много было у него?

— Тыщавосьмьсот.

— И что же?

Николай бросил пилить, поставил пилу, поглядывая то на меня, то на дом Санечки, и стал рассказывать, как Тихон топил сторожку и уснул, а Санечка зашла, закрыла задвижки, начала кричать «Горим!», а сама тем временем выхватила деньги.

— Она бы могла и без того уйти, зачем же ей кричать было, если деньги взяла? Ведь на нее и подумали бы все равно.

— Так получилось, что позвала, а Тихон кинулся — денег тютю.

— Оттого она недоверчивая, что сама себе не доверяет.

— Вот и вот-то. Она своему Дельцу-то не доверяет, племяннику. Путевки ему выписывает на выход из дома. А если Делец самостоятельность проявит, выйдет, то она кричит на всю деревню: «Коля, вернись, кому сказала!»

Я улыбнулся и попросил:

— Сходим посидим к дому Ивана! — Там разговаривал Тихон Родионыч.

— Ну его! Я так до вечера не испилю.

— Чего один-то пилишь?

— А с кем же?

— Позвал бы кого.

— Ну их!

— Пойдем...

— Ну его! Тебе сейчас делов нет — иди поговори со старым человеком, а я ветелок парочку расправлю, — Николай хотел сказать «распилю», но решил сострить.

Я пошел к дому тети Груни Егориной, где судачил Ярцов.

— Залило... Никому... Текет, — бормотал он малосвязные речи и плакал. Всю жизнь отдал церкви, и вот теперь, истрепанный душой, телом и одеждой, он проживал в маленьком домишке, который собирался подремонтировать от дождя и на зиму.

Тихон Родионыч был в сером костюме, в такого же цвета фуражке, в простеньких брюках и сапогах. Все было просто у этого человека, как и одежда его, и только старость навалилась на него тяжелым грузом. Теперь знакомые, далекие родные, да и церковники, хотели скорее избавиться от такой обузы, потому что это уже был не тот Ярцов, который вел хозяйскую часть в церкви. Стал Тихон Родионыч стар, тяжел, и облаком упали на него невзгоды, а он, растерянный, обращался за помощью, но никто так же безропотно и безденежно не бежал к нему в дом, как он бежал когда-то в алтарь или в сторожку к попам. Кое-кто и жалел его, но эта жалость скорее была похожа на соболезнование.

Свежий, чистый, всегда аккуратно выбритый и причесанный холостяк и непоседа, отдавший целую жизнь делу отделенной от государства

церкви, теперь потихоньку умирал вместе с верующими старушками. Ярцов не жил, а существовал, мучаясь и стыдясь брать кусок хлеба в храме. Сейчас он уже не работает там, на передовой позиции службы; новый священник не знает его преданности и деяний и снисходительно дарит что-нибудь Тихону, если кто-то замолвит слово о былом усердии и расторопности церковного служаки. Старушки любят Ярцова больше, чем даже попов, за верность церковному делу, но положение изменить не могут, это не в их силах.

— Я с тобой теперь по делу, — Тихон хотел сказать, что договориться пришел, но забыл.

Ваня только что прибыл из соседней саратовской деревни Сиротки. Он отдал два плаща дочери и выжидательно посматривал на Тихона Родионича.

— Крыша залила, полторы кружки набежало. Накрыть надо, — продолжал Ярцов. Набежало, наверно, и корыто, и бак, потому что уж очень старая изба была у него. Глаза Тихона, красные, воспаленные, накрапывали на зеленоватые щеки слезой. Выбрит Ярцов был тщательно, и только на шее висел забытый, а вернее, не увиденный им клочок.

Во дворе были все женщины Егориных — мать Ивана — тетя Груня, ее дочь Маня и внучка Галя.

— Хлеб-то есть у тебя, дядя Тихон? — поинтересовалась Маня.

— Откуда есть, спрашиваешь? — Ярцов уже плохо слышал.

— Дома у тебя хлеб есть? — повторила громче Маня.

— Дали. Вчера. Кусочек хлеба есть, — стал как будто извиняться Ярцов. — Я скажу, если дали. Вот третьего дня яблоки дали. Я скажу. Я плохого — никому. Нет, нет...

— Дай ему хлебца, — сказала тетя Груня внучке, поняв отговорки старого человека.

Галя косо бросила взгляд на Тихона и скоро вынесла горбушку:

— Вчера спекли, свежий.

— Спасибо, спасибо, — кланялся Тихон, закладывая кусок хлеба за пазуху.

— Яйца есть? — опять жалела дедушку сестра Ивана.

— Чаво, чаво спрашиваешь?

— Яйца, говорю, есть?

— Есть. Целых девятнадцать и кусочек хлеба. Яйца есть.

Внучка крутилась:

— Пусть идет отсюда.

— Ему к председателю надо, — заметила тетя Груня, обращаясь к сыну и дочери. — Старый человек, а помощи нет.

Тихон Родионич, не работавший в колхозе, знал, что не может уповать на председателя, и все старался уговорить Ивана:

— Ты крыл, Ваня, мне уж. Он крыл, Маня, мне уж. Тогда ручьем... — Ярцов хотел сказать «текло», но не досказал. Язык его вылез, и он промолвил вяло: — Теперь ведром льет. Разь, Ваня, я когда-нибудь ты обижал? Ваня, обижен не будешь! — Ярцов хотел сказать: «Вот при матери говорю». — Целую десятку дам. Вот такую дам, — и он показал на палке.

— И ты такой будешь, — бросила сестра брату. — Родных нет у него. — К тому времени единственный брат Тихона Степан Родионич умер, не оставив потомства. Мане стало стыдно брать десятку с Ярцова, и она попросила: — Дядя Тихон, на бутылочку дашь — и хватит.

— Там, Вань, немножко. Я тебе буду приспавлять, а ты поднимешь. На крючок задену корыто и подадим. А ты наверх полезешь.

Тетя Груня, жалея сына, сказала:

— Ты бы, Тихон Родионыч, наверх сам полез!

Но дочь Маня вступилась:

— Куда ж такой старый полезет?

— Я тебе, Вань, накладу, а ты полезешь. Не обижу, — Ярцов выражал готовность помогать во всем.

— Вино-то есть? — прервал свое молчание Иван.

— Вина нет. Это я тебе сразу скажу. Дам денег. Тут и мать хоть. Десятку дам. Не обижу...

Вместе с церковью, отделенной от государства, хирела и деревня, объединенная с другой в более обширный колхоз. Деревня благородно давала государству хлеб, масло, мясо, тянулась, подобно Ярцову, из последних сил, старалась, надеясь, что и ее когда-нибудь поймут, будут гнать деньги не на ЦСУ и ВАСХНИЛы, не на олимпиады и дачи с санаториями, а станут строить деревни, где труд и отдых будут идти рука об руку. Людям села надоело трудиться без денег, они видели, что приезжим наемным работникам платили за два месяца больше, чем сельчанам за год; им становилось обидно, и молодые убегали, а старые постепенно уходили из жизни. Умирала деревня, умирало прошлое, расцветали города, испаряя асфальтовую гарь. Там усердно долбали и перedelывали асфальт, а в селах машины выбывались из сил на ухабах.

Церковь не беспокоилась о Ярцове. Кто-то не беспокоился о деревне. И они доживали свои дни, как родные братья. Когда высохнет Ярцов и когда высохнет до конца деревня, никто не знал, но чувствовали, что это произойдет... Может, нашлась бы добрая душа, помогла бы от щедрости Тихону Родионычу, но могла бы найтись добрая душа и для целой деревни, хотя и о том, и о другом было и есть кому думать, но не доходили руки...

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОК

Просторнов принял последний экзамен в выпускном восьмом классе Кулевчинской школы и отправился на стареньком велосипеде к отцу, который жил в соседнем селе. По дороге он заехал к ученице, чтобы подбодрить ее. Девочке дважды снижали оценку на экзамене. Он требовал пятерки, но члены комиссии были неумолимы: в году не было отличного усердия. «Докажи знания на деле, — уговаривал он ученицу. — Поступи после школы. А все остальное — условные знаки».

Домой Просторнов ехал уставший, не торопясь. Осматривал поля, глядел на небо, прислушивался к пению птиц, но усталость не проходила. Упадок сил он чувствовал не от сложных уроков, которые проводил, раскрывая детям понятия о жизни, природе, пробуждая понимание и воображение, вырабатывая у учеников грамотность, внимательность к слову и точность словесного выражения в устной речи и на письме. Он уже год преподавал литературу и русский язык в сельской школе. Ученики Просторнова за грамотность экзаменационных сочинений получили семь отрицательных оценок. Инспекторы районного отдела образования старались добиться не выяснения истинных знаний от детей, а скорее, хотели добить Просторнова в глазах учеников. «Будто за пятьдесят часов, отведенных на русский язык в выпускном классе, я мог что-то изменить! — негодовал он про себя. — Семь лет и сотни причапов пропали даром! То ли

спали дети на уроках, то ли озорovali, но знаний нет, а я виноват. Надо было сохранить диктанты, которые писали ученики, когда я принял этот класс. По сто ошибок на одной странице! Но я не пошел по проторенному пути. Вечные тройки, переписывание и подтасовка сочинений, подстановка слов, букв, знаков препинания теперь не идут в ход. Поэтому и давят меня. Уходить надо», — говорил он себе.

Так шло в раздумьях время. Просторнов проскочил посадку. Вот еще деревня. А скоро увиделась церковь родного села. Как только показывалась на горизонте родная церковь, он знал: рядом дом. Пошли овраги с их широким выходом к речкам, сами речки. За спиной остались пойменные Гуровая, Глиновая. А вот уже приток Мокрого Карая Лядовка и сразу за ней — Моршань, Моршань-Лядовка.

Домой Просторнов приехал не слишком поздно. Мать упрашивала поесть, а отец увел на пчельник, где чистил маточники на рамках.

— Рой улетел! — ругался он. — Ну, какой мать помощник, ей только к попам ходить! Упустила пчел. Прилег на минуту и флягу меда потерял, — не унимался отец.

«Куда тебе этот мед? — думал про себя Просторнов. — Деньги-то все одно достанутся детям, а ты волнуешься. Ясно, что не деньги и не фляги волнуют отца, а продукт, который нужен людям — больным и здоровым. Если бы каждый производил на земле столько ценностей, сколько производит этот человек, добились бы мы если не коммунизма, то благополучия и изобилия».

Просторнов опять сел на велосипед, осмотрел на нем округу, расспросил соседей, видели ли рой, видели ли, куда он полетел, но все было тщетно. И Просторнов вновь пошел на пчельник к отцу.

Мать, разгневанная отцовским возмущением, отдала сыну пчеловодческую сетку, сказав:

— Иди к нему. Не могу слушать.

Обычно отец работал на пчельнике споро и молчаливо. Пчелы за раздражение жалят, а отец не терпел укусов — нервы не выдерживали, хотя пчел не боялся. Сегодня особый случай. Зато сын был сейчас на редкость спокоен и терпеливо смотрел на отцовский бунт:

— Ничего, папаян. Хватит и этих пчел, какие есть.

Когда отец срезал лишнее на рамке, то посоветовал сыну заглянуть в улей, где пчелы жили без матки.

— А что они там делают?

— Какая бы власть ни была, она есть насилие. Но вот в этом улье пчелы без матки, то есть без хозяйки, без власти. Посмотри, чем занимаются.

Просторнов удивленно смотрел на пчел, которые беспорядочно ползали в улье и у летка — отверстия улья. Среди них были необычные толстые пчелы.

— Трутни это. Тунеядцы, алкоголики, бездельники. Одни пьют, но пашут при хорошем хозяине, а другие время проводят и технику гробят, — отец с пчел переходил на людей, с людей — на пчел.

— Что же теперь?

— Рой нужен. Один вот есть, а тот улетел. Выход какой? Высыпать!

— А дальше?

— Смотреть насилие.

— Но несправедливая власть пахнет тиранией, — промолвил Просторнов.

— Может быть. Только подчинись ей, — многозначительно сказал отец. —

Давай проведем социальный урок на пчельнике, — пошутил он сквозь горечь и попросил сына перевернуть улей с пчелами, которые не работали. С отца зло сошло быстро. Его ждало дело. И он принялся за него.

Лениво пчелы безматочного улья разгуливали по граненым восковым стаканчикам сот. Сын с отцом вывалили пчел на траву, отец очистил улей, поставил в него новые рамки, некоторые были только что навощены, принес роевницу, засыпал других пчел в улей и поставил его на старое место.

Просторнов много лет жил в городе. Кое-что знал о пчелах, но больше, как качать мед и ставить пустые рамки в улей. Самостоятельно с пчелиными семьями не работал, порядок ухода за ними и все тонкости этого дела были ему не известны.

— Что же будет? — спросил он.

Глаза отца забегали:

— Борьба.

Пчелы полезли в улей.

— К чему так стремятся? — поступил очередной вопрос сына.

— Убить матку. Но рабочие пчелы не пускают к ней: закатали матку в клубок и охраняют. Потом она займет свое место и начнет давать указания.

Ленивцы стремились в клубок, где была матка... У рабочей пчелы и у пчел-тунеядцев разные взгляды на жизнь, труд, счастье. Рабочая пчела, которая находится в строгой машине послушания, видит счастье в свободном полете и добывании нектара. Она счастлива от единения с семьей, от своих обязанностей перед семьей. А беспечные пчелы, потерявшие матку, теперь видели счастье в употреблении меда, трудовой крови. И эта разница во взглядах породила страсть к уничтожению друг друга. Но рабочие пчелы были более дружны, сплочены.

Просторнов принес свежей воды из колодца, выслушал очередной запах отца на мать, упустившую рой, пошел на пчельник. Сегодня ему хотелось вникнуть в дела отца. Такая благодать была от того, что отошел от школы. На уроке у отца было легче и свободней. Дышала простором природа, как и душа. На экзаменах, сознавая свою и других учителей недоработку, он помогал ученикам. Завалов в целом не было, кроме как у тех учеников, с кем было все ясно еще в учебном году, потому что они не хотели трудиться, но заявляли, что им все равно поставят тройки. «А как сложится здесь, на пчельнике? Как я буду сдавать экзамен отцу? — думал Просторнов. — Ведь отец надеется, что после него пчел водить будут дети, и тогда экзамен мы будем держать перед памятью родителей. Как тогда в самостоятельном режиме я буду вести свое дело? Смогу ли удержать пчелиные семьи?» После двадцати лет жизни в городе Просторнов вернулся в родные места. Ему дали работу и дом в соседнем селе. Он посадил огород, ухаживал за садом. Но ему хотелось усвоить сельскохозяйственные умения отца, его технику обращения с пчелами, хотя не было времени, а желания то грудились в его душе, то исчезали.

Отец, семидесятилетний, сухой, весьма свободно одетый мужчина, лежал в уголке пчельника прямо на траве. Одна нога была заведена за другую, это была обычная поза отца, только обувь смотрелась необычно. На раненной на войне ноге он носил сапог, чтобы она ровней держалась при ходьбе, на здоровой носил ботинок.

Сын лег около отца. Так они и лежали рядом, и каждый думал о своем. Отец не знал, к кому примкнуть в старости, лучше ни к кому, пока ходишь. Сын не советовал примыкать, но сам еще не определился, жил один. Учил детей, много читал, писал. Он видел в учительском деле настоящую работу, а отец считал это чем-то пустым:

— Сейчас все учат, — говорил он. — Вот и ты тоже учитель. Правда, предмет выбрал хороший: читай, радуйся. Но интересы власти тебе, наверно, надо проводить обязательно.

— Я историю русской жизни и борьбы преподаю через художественную литературу. Задачи историков ближе к надеждам власти, — оправдывался сын, хотя пчелы понимал, что отец боялся за него, зная его пыл, переживая нашумевшие скандалы, последствия которых долгое время не оставляли сына.

Просторнов был высокомерным человеком, как и полагается незапятнанному учителю. Он держался гордо, несмотря на то, что был под особым вниманием, так называемым приглядом недоверия. И все же сохранил волю, ходил везде и всегда смело и уверенно. Вел себя независимо, совершал отчаянные поступки. Все в Просторнове говорило о том, что он знает, что делает. Но в душе Просторнов всегда понимал, что ему чего-то не хватало. Не хватало опыта, который помогает читать по глазам человека движение его чувств и мыслей. «Но и то, что возможно прочесть у пчел, ты не сможешь сделать, — говорил он сам себе. — Пчелы не зовут. Они тревожатся, беспокоятся. И ты должен понять их. Это более организованные существа даже, чем бессловесные корова, лошадь, овцы. И не потому ли гибель пчел называется смертью? О них говорят «умерли», как о человеке. Тогда как о скотине говорят, что она подыхает». В больших глазах Просторнова, в лице его улавливалась подчас грусть. Он сомневался в том, что интересы его жизни верны. Сомневался в том, как воспринимают их люди. Хотя отец его часто восклицал: «О, эти люди!»

Так думали о своем на пчельнике отец и сын. Мать ходила по двору. Иногда заглядывала к ним и тут же исчезала.

Отец встал.

— А ну-ка иди смотри дальнейший этап урока! — позвал он сына, вытирая пот на своем опрятном высоком лбу, изрезанном морщинами. Волосы у него аккуратно положены на сторонку. Лицо — узкое и острое, нижняя челюсть выдвигалась вперед.

— Никто из нас не уродился в тебя, — сказал Просторнов. — Старший трудяга, но умом не дошел, чтобы водить пчел. Младший умный, но не любит трудиться, ленится. — Про себя он промолчал. Тоже недалеко ушел от первого брата, не умеет читать страницы пчелиной жизни. А зря.

— Смотри, — показал отец.

У летка валялись трупы пчел. Остальные редким числом шли по заданию. Но большинство кровопийц, тех, что не подчинились, вытаскивались за крылья, голову и убивались. Пчелы бисером свисали над гордыней лентаяев.

Только на второй день подчинение было полным. Улей дышал соглашением у летка...

Матка была справедливым тираном. Она ценила каждого по заслугам. В жизни же людской чаще тиранят несправедливо, а трудовому человеку нет времени наживать на товаре расхваливания. У пчел ценится забота о семье, в человеческом обществе ценится забота о славе власти.

Ученица, о которой переживал Просторов, поступила в педучилище. Она и другие его выпускники — восемнадцать из двадцати пяти человек, — выдержавшие вступительные испытания в училища и техникумы, подарили ему уверенность в успехе педагогического дела. Этот жизненный экзамен он сдал успешно.

БАБУШКА

Странно, но факт: когда я появился на свет божий, бабушке было уже шестьдесят лет, но знал я ее будто молодой. Если кому-то из близких людей я и обязан формированием характера и вниманием, то прежде всего бабушке, а затем — дедушке. Я любил их с самого детства. Мне повезло. Я имел возможность блуждать в открытом пространстве жизни, имея рядом добрых людей и хороших друзей, с которыми сначала играл, потом дружил, а самое главное — которыми восхищался. Восхищался, когда бабушка пела церковные песни, например, «Гора Афон, гора святая, Не видно мне твоих высот И твоего земного рая...». Она умела петь и светские песни. Не просто умела. Она обладала музыкальным слухом, чувством, голосом. Мы, все внуки, кто уже тогда появился на свет, любили слушать ее пение. Я, сестренка Аля и Толя старший. Толя был чуть больше меня. Старше на семь лет. Он раньше отошел от бабушки. А я с ней был почти неразлучен. И если бабушка уходила из дома по каким-то причинам, то мне бывало тяжело, я переживал и ждал ее больше всех, хотя ждали ее все. Она уходила к Князьковым редко, но метко. И могла целую неделю быть вместе со своим братом, вечерами на печке вспоминая детство, молодость, свою жизнь и жизнь своей матери. Ее мать имела несколько мужей, и из-за этого бабушка считала ее несчастным человеком, ибо ее детей не очень любили неродные отцы, или отчимы. Я представляю, как баба Катя и ее брат Григорий говорили, радовались и печалились на печке. Веселым она была человеком. И дядя Гриша Смоляной тоже был веселым. Все в нем накрепко сшито и сбито. Голос он имел медленный и текучий — звонкий и твердый, но теплый.

Никто так не ждал возвращения бабушки, как я, как будто она уходила в вечность. Мы с ней спали вместе, и очень долго. Она — до семидесяти лет, я — до одиннадцати. Когда мы ложились рядышком, бабушка гладила мне голову, искала там вошек, и я засыпал. Тогда могли быть вошки от голода, холода и нужды. Но наш отец-ветеринар и бабушка с дедушкой знали, чем их выводить. Не только отваривали золу, но использовали и другие приправы.

Бабушка брала меня с собой везде, и я любил работать с ней. Рвать повитель на огороде, то есть полоть. Садить растения и ухаживать за ними — это больше мы делали с дедом. С бабушкой мне было весело и интересно даже в работе. Это не значит, что не было детских игр, озорства с друзьями. Полно. Детей в деревне было пропасть. Казалось, только и были тогда на Руси дети, вдовы и бабушки с дедушками. Отцов забрала война. Дети, старики да вера в божью помощь стали вдовам опорой в горе. У нас в селе стояла и стоит до сих пор церковь. В ней велись службы постоянно. Люди стекались сюда со всех окрестностей за пятнадцать-двадцать километров. Шли и ехали в Моршань в дни всех христианских праздников. Сегодня Моршань сильно опустела. Одна церковь да погост рядом с ней остались от всех тех людей, которые жили когда-то здесь, а теперь на месте их жилищ стоят обломки изб да валяется гряда печных кирпичей.

Я часто бывал на службе, но не усидчив был и не усерден. Я как-то с детских лет, не зная ничего, пытался все производить сам. Устраивал с товарищами службы, возносил молитвы Богу, исповедовал своих ровесников. Мне казалось, что и не учась можно и должно многое уметь. И я учился, вникал во все дела и добивался особенных успехов. Виртуозно ездил на лошадях. Еще более виртуозно катался на велосипеде. Освоил велосипед я случайно и сразу. Дождавшись однажды Володю Бушуева, когда тот пришел за вином в магазин к Шуручке Марькиной, я схватил его велосипед, вывел на горку около Родионовича дома и поехал. Поехал сразу. С багажника. Управление попало в надежные руки, и мне было приятно. Собственный велосипед я получил гораздо позже, когда купил мне его отец. Ручные белые тормоза, счетчик — вообще, велосипед этот был при всей красоте и форме, со всеми атрибутами того времени. Я хранил его зимой дома в нашей маленькой хатке на стене. Так я любил своего механического коня, хозяином которого стал в десять лет. Я еще не перешел тогда на самостоятельное спанье. Отец появился в семье поздно, и мать все время путешествовала за ним то в тюрьму, то в больницу. Маму нам заменяла бабушка. Жесткая и очень требовательная старушка, но добрая, ласковая и внимательная. Она поистине заменяла всех, особенно мне. Она любила и ценила меня за простоту, ясность и балагурство. Она поддерживала и понимала детство, оберегала меня.

На вид баба Катя напоминала прожеженную цыганку. Темные черты лица, смелые волосы, твердый неженский взгляд. У нее было много детей, но еще больше было внуков, и они оставались беспризорны. От старшего сына Егора у Ленки трое осталось. Дядю Егора убили на украинской земле в сорок четвертом году. Нас было трое от младшего сына Петра, вернувшегося с войны инвалидом. У тети Веры, дочери бабушки, родилось гораздо больше детей. Тетя Вера часто болела, а муж воевал. Так что бабушка делилась лаской и заботой не только с нами. Но мы с ней были одной неразрывной семьей, опорой для ее будущей старости. В свои шестьдесят лет она была молода, энергична и неугомонна в трудах и заботах. Все в ее руках горело и кипело. Любили в семье особо, когда она пекала блинцы; хлебы ее получались душистые и очень мягкие. Все она могла, и нашу мать иногда ругала за то, что та уделяла внимание другому. Но матери было тогда не до хлеба и блинов. Речь шла о жизни или смерти отца. Ради чего же она жила вместе со свекром и свекровью?

Топить печку баба Катя любила и почти никого не подпускала к этому важному делу. Позже мать и отец тоже топили русскую печь, но это было не то. Бабушка, раскрасневшись, смотрела в печь и кочергой поворачивала огненную массу. Как умелый машинист котлов, она мастерски владела тепловым процессом, зная, сколько и где надо держать огня, когда должен гореть навоз (его сушили и использовали как топливо), когда можно ставить блинцы. Я сидел около печки и ждал, когда буду их отмечивать. И вот в руках бабушки цапальник — прибитый на длинную палку металлический крюк, плотно цепляющий сковороду и крепко держащий ее. Сковородка — почти на весу, а в ней шипит блинец. Все так очаровательно просто. И я помню это до сих пор. Блинцы были вкусны. Пшленно-пшеничные, заведенные на молоке и яйцах, поджаренные на подсолнечном масле, они слетали со сковороды, а потом таяли в руках. Так же я ждал, когда дед Тимофей или мама испекут жаворонки к празднику весны. Теперь мне самому уже под шестьдесят лет, сам я дед, но у моей внучки есть отец и мать, есть бабушки, есть какой-то тасм дедушка. Я видел внучку немного

раз. И вряд ли она будет помнить меня так, как я бабушку Катю. К тому же, у меня у самого малые дети, и мне не до внуков. Моя бабушка воспитала во мне волю, характер и определенную твердость, любовь к труду и близким своим. Сегодня все это, что растили в нас наши деды, распадается. Но при Сталине без родства и поддержки человеку грозила тюрьма при малейшем неосторожном движении или при неприязни властей. За людьми охотились, их заставляли жить дружно родней, колхозом. Хотя в коллективном хозяйстве — ни взять, ни продать. Это теперь колхоз стал прибежищем пьяниц. А тогда было не до вина. Кусок хлеба лишь бы достать. И доставали — кто за что. Дед — за выращенные помидоры и огурцы, которые продавал со мной на Саратовской стороне, в Михайловке, на Родине мамы, так что наша семья стояла всегда одной ногой на Тамбовской земле, а другой — на Саратовской. В Саратовской области жили другие мои дед и баба. У них были свои любимые внуки — Света и Валерий от тети Гали и дяди Вити. Мне не понять их любви. Она была иной. И они оказались иными в делах и заботах своих.

ДОМНА ИВАНОВНА БЕЗМЕН

1

Разные чудеса бывают на свете. Одним чудом света в Перекислове стало рождение Домны Ивановны. Не революции, не войны, а природа подарила селу это создание.

Домна Ивановна от роду была мужиковатая. Не то чтобы мужчина в полном смысле этого слова и не то чтобы женщина, а так, серединка наполовинку. Про таких в народе говорят «двусносная». Если посмотреть на нее со стороны, то можно было увидеть, что лицо будто покрыто легким мохом. Нет, оно не было заросшим, как у мужчин, когда требуется бритье. Оно было сносным. Просто заложенное в Домне Ивановне мужское начало имело склонность к развитию. Она оставалась женщиной до того предела, за которым шло сносное превращение.

Поджарая фигура, согнутая хотя и не в три погибели, но в полукоромысло, так, что груди впивались в тело, и их не было видно, — такой представляла Домна Ивановна. Глаза, холодные, без движения, ни о чем особенном не говорили. Голова не вызывала удивления. Только огромные мужицкие кисти рук давали представление о сильном человеке. Острый нос, бледное не улыбочивое лицо указывали не на кротость нрава, а на твердость духа.

Нижняя губа у Домны Ивановны вечно висела, как у лошади в момент передышки от жевания. Ходила Домна Ивановна согнувшись, ноги переставляла с трудом — можно было подумать, что едет на велосипеде. Руки, длинные и сухие, висели ровно, а при быстром движении болтались произвольно под тяжестью кулака. Кулак у нее был истинного русского богатыря. Не зря прозвали ее Безменом.

Напомню читателю, что безмен — мерительный инструмент весового типа, с щербатыми пометками фунтов и четвертушек. Рычаг этого инструмента составлял длинный металлический стержень. На концах горизонтального стержня с одной стороны — крючок, а с другой — тяжелый набалдашник, груз без мены. По тяжести груза, напоминающего гирю, и называли эти весы безменом. Он еще недавно находился почти в каждом сельском доме. Так, на всякий случай или как средство защиты. Кому-то

и инструмент подмога, а кулаки Домны Ивановны приравнивались к этой тяжелой гире. Фамилию ее мало кто знал, потому что прозвище «Безмен» куда более подходило к ее данным. Она сама хоть и привыкла к важности своего прозвища, но иногда сердилась, когда слышала его себе вслед. Дети между собой чаще пользовались сокращенным словом «Домаха».

Бездомная и бездетная, нашла Домна Ивановна прибежище в школе. Работала там дежурной и уборщицей, истопником, кормилась там и жила чаще в учительской, чем у односельчанки Маврички. Домна Ивановна была непоколебима в своих решениях, часто в ход пускала кулаки или колокол, который подавал свою ноту на окончание урока или перемены. Если звука «ля» было мало для непослушного ученика, то от соприкосновения с его телом колокол издавал иной звук, который вряд ли определишь камертоном. Одним словом, не попадай под горячую да и под холодную руку тоже. Огреет так, что не раз будут сниться чертики в глазах.

От женщины трудно было в Домне Ивановне что-либо найти — если только волосы и платок на голове. О ней не рассказывали историй и неблиц на предмет похощений — у нее не случалось обособленных стремлений. В женском начале ее сомневались, но вот в кулаках никто не сомневался. И если врежет она промеж глаз, то и бык вторишник не устоит на ногах, не то что ученик какой-то. В школе Домна Ивановна, которую учителя уважительно называли по имени-отчеству, оставалась грозой и непримиримым стражем порядка, за ней педагоги жили, как за каменной стеной. Но и около этого стража прорывало иногда детский поток, и тогда дежурная приступала к своим обязанностям и отпускала колотушки безменом руки с неудержимостью воина. Защититься от ее кулака было невозможно, независимо от возраста. Дети выкраивали минутки для озорства тогда, когда Безмен уходила с поля боя в учительскую за звонком.

Домна Ивановна создала себе звонкую репутацию коротким словом и смелым жестом. Била кулаком основательно. То ли мужика стукнет, что позволит в пьяном бреду лишнее, то ли трезвого угодит за какую-нибудь провинность. Надолго ее запомнят. Сразу успокаиваются ретивцы.

Стуящие мужчины после войны были редким числом в селе. Здоровые на фронт ушли, да так и остались на полях сражений. Здесь же теперь только калеки и старики. Фронтовиков-калек Домна Ивановна не трогала. Все больше гоняла подростков да тех, кто без ума слишком перерос.

2

Однажды Николай Егоров, внук деда Артема, приехал на каникулы из Тамбова в родное село навестить мать. В Тамбове он в ФЗУ учился. На досуге решил подразнить соседку Домну Ивановну.

— Безмен, безмен, ты взвезь мне мел!

— Я тебе дам «Безмен»! Я выбью дурь из головы, раз не воспитали в городе, — Домна Ивановна собралась в цепкий клубок и потрусилась за обидчиком.

— Ох и бежал я от нее, — рассказывал Николай двоюродному брату Антипу.

— Так это ты в вельветовой куртке по репьям рвал от Домахи? А я смотрю и думаю, откуда это папуас такой явился, у которого репья в голове застряли?

— Я те дам «папуас»! Карапуз еще будешь, — погрозил Николай Антипу. — Без тебя тяжело. Во Домаха так Домаха. Жизни нет от нее, — грустно произнес здоровенный парень с русыми волнистыми волосами. — Чуть в дверь — как она от Маврички выглядывает, схватить готова, — продолжал объяснять Николай.

— Меня Кудея, по химии, в школе съедает. Тебе Домаха жизни не дает.

— Ты хоть учишься. Я в школу давно не хожу, а Домаха зацепилась. Скорей бы в Тамбов уехать. Домой к матери родной приехать нельзя. Тоже мне соседку бог послал!

— А ты зачем ее Безменом дразнишь?

— Ее все так зовут. Какая особа!

— Чего ж тогда обижаешься?

— Не назови ее! Выбирай слова! Пошла она куда подальше!

И ребята ушли купаться.

3

Заняла Домна Ивановна прочное место в воспитательной среде. И никто ни разу не подумал жаловаться на ее строгие меры, только шутили:

— Ага, заработал от Домахи! Учиться не хотят. Это не дома проказничать!

— Зря не тронет. Коль заработал — получай. Не ленись, проказник, — не поскупись, воспитатель.

Жила Домна Ивановна в школе, топила исправно печку, мыла пол, водицу свеженькую приносила к переменам из колодца. В ее плоской груди билось беспокойное к делу сердце.

Более исправно Домна Ивановна приводила в порядок псарню. Так называли неумную ребячью толпу старые люди. Сами знаете: не прочи — толку не будет. В класс не загонишь после перемены. Воспитание хоть и самотканного производства, но кому было заниматься настоящим? Хлеба достать негде, а тут — воспитывать.

В войну и после дети работали наравне со взрослыми, а кормились чем придется. Рыба ловилась мало — ребята доставали из реки ракушки. Собирали колоски в поле. На огородах выращивались огурцы, помидоры. Картошки — и той вволю не было. Вместо сахара — свекольные леденцы да пареная тыква в радость. Отливали дети сусликов в норах. Суслик ободраный — вроде котенка, мясо его сладкое, как у кролика. Шкурки ребята растягивают, сушат и сдают татарину. Мастера обрабатывают шкурки хлебной закваской, выделывают, а родители шьют из них одежду — пальтишки, пиджачки. Мальчишкам важно было научиться тому, что умеют взрослые. Если в деревне обжигают горшки — это обязательно могут делать и ребята.

Прохладное светлое утро, жаркие солнечные дни радовали детей. Но огорчения жили рядом. Люди научились переживать трудности как необходимость. Война вырабатывала терпение и стойкость. Дети опухали от голода, но просыпалось утро, свежестью озаряло лица ребят, и они вновь тянулись к играм — в прятки, лапту. Нет-нет да и пошालят. Разве можно одними заботами и тревогами выжечь из сердца юную энергию радости?

В коридоре школы на переменах — куча-мала. Учителю с росточком

Анны Ивановны Кошкиной, с ее дребезжащим голосочком и птичьим весом, трудно пройти в класс. Но подай голос Домна Ивановна — как тут же образуется свободный людской коридор.

Анна Ивановна — сирота. В Перекисловскую сельскую школу попала после педучилища. Вряд ли кто задумывался о трудностях молодого педагога. Не внушала доверия на первых порах Кошкина ребятам, поэтому не замечали ее, летели — того и гляди с ног сшибут. Не раз приходила на помощь Безмен, давала, и хорошо давала знать, кто есть учитель. Шумгам ребят для Домахи — дело обычное. Она спокойно относилась к играм детей, только зlostные случаи заставляли ее прибегать к кулаку.

Домна Ивановна слегка туповата на какое-либо серьезное занятие, ей и учеба не поддавалась, но уборку в школе она делала с большим умением и старанием. Потому следила не только за дисциплиной учеников, но и за чистотой. Не приведи бог, если дежурная заметит, что кто-нибудь оставит чертилкой автограф на кирпичах школы! Но инициалы все равно появлялись, и число их росло.

В Перекисловской начальной школе выпускалась газета. Кто на парте уедет у Анны Ивановны или под партой путь откроет — тут же появляется на стене художественный портрет героя. Но ни газета, ни коллектив класса, ни педагогический совет не работали так действенно, как Домна Ивановна. Прославленный человек!

На смену ослепшей учительнице Софье Алексеевне пришла в школу Мария Андреевна Бирюкова. Это она и наладила выпуск газеты. Стремилась опираться на ребят, но своеобразно — без отрыва от местных традиций. Вечером она собирала взрослых парней на рабфаке. Кто не смог учиться во время войны — теперь наверстывал упущенное у Марии Андреевны.

Она быстро вошла в школьную жизнь, уже к Новому году организовала елку с самодеятельностью. Дети рассказывали стихи, в хороводе плясали, пели. Больше всего запомнились танцы под аккордеон. Играли сын с отцом Нельзины. У сына Юры — гармошка детская и голубой аккордеон, отец играл с переборами на сером. Недавно приехала в село Перекислово семья Нельзиных из самого Ленинграда. Юрий учился в третьем классе. Его мать, Ольга Викторовна, работала врачом в Перекисловской больнице. Муж ее, Борис Алексеевич, — отставной капитан авиации, фронтовик, нервнoбольной. Волосы у него рыжие, струной на голове стоят. Из Ленинграда их выслали. Пристанищем для ссыльных врачей, учителей стали отдаленные села Саратовской и Тамбовской областей.

4

Здание Перекисловской школы представляло собой одноэтажный особняк из красного кирпича, с крыльцом. Внутри — четыре комнаты и коридор с двумя выходами. Окна — полусферические. Под карнизом граненый ребром кирпича рисунок. Крыт особняк железом почти плоско. Чтобы ветер не поднимал крышу, а молния не попала в здание. Цилиндрические, железом обитые печи в помещениях напоминали каминь во дворцах.

Вокруг здания учащиеся вместе с учителями посадили деревья. Скоро особняк окружила зелень клена и вяза. Тогда колхоз около полей сажал лесные полосы, и саженцев было в достаточном количестве.

Рядом со школой — горка, а внизу — огороды и речка Карай. Зимой

ребята гоняли на лыжах до школы до реки. Это было рискованно, потому что трамплин здесь многоярусный.

В Перекисловской школе работал учителем Сергей Кириллович Сафонов. Счет на палочках, чтение с закрытыми глазами, чистописание — жгучая наука. Сергей Кириллович расписывался в дневнике каллиграфически. Будто из пистолета пристреливал букву к букве. Объяснял просто. Читал ясно.

Методика воспитания его несколько походила на практику Безмена. В классе муха пролетит — слышно. Сам он доволен порядком, приглашает усы. А недovolных ставит в угол коленями на горох или в ход пускает линейку, мел, указку. Ребята на деле осваивали арифметический предмет. Доставалось больше всех Емеле — лобастому парню из третьего класса, самому упрямому, мало смыслящему в науках. Читал он с трудом, собирая слова по слогам.

Голубые глаза Сергея Кирилловича пронзительно резали учеников, когда он важно ходил около парт. Учитель вырывал взглядом тех, кто не выполнял заданий или не готов к уроку. Серебристые усы его двигались. Волосы грядками проседи плотно лежали на голове, блестели, иногда шевелились, когда Сергей Кириллович играл желваками чисто выбритых скул, выступающих вперед. Нос направлялся вверх.

Вообще учитель редко отрывается от доски, когда ведет объяснение. Если случается озорство — он нюхом старается уловить беспокойный дух. Называет фамилию не глядя и совершенно точно. Дети перемигиваются, улыбаясь. Такая точность доставляет им удовольствие, потому что поворот педагога означает не предупреждение, а точный бросок мела в лоб. Несколько секунд полевого сражения — и урок идет превосходно.

Опрятный старичок в очках, Сергей Кириллович походил на церковного регента. «Церковный» хор состоял из трех учителей и Домны Ивановны. Малолетние «прихожане» приучены к значительным мерам воспитания. В школе тоже было два места, напоминающих клирос — место для певчих по обеим сторонам от алтаря: коридор да маленький закуток — учительская, где располагалась еще и койка Домны Ивановны.

Мария Андреевна шла своим путем, но ни усвоить, ни отрешиться от средств учителя старой закваски Сергея Кирилловича Сафонова она сразу не могла, хотя меньше прибежала к линейкам, указкам, гороху и меду. При сильных столкновениях учителя с учеником под предлогом дополнительных занятий закрывала ребят в так называемый карцер.

После очередной взбучки на уроке Емеля решил выступить против Сергея Кирилловича. Долговязый парень с настырным взглядом серых глаз забыл тетрадь по арифметике, не выполнив домашнего задания, и теперь ему не сиделось. В голову ничего не шло. Какие занятия, если голодным в школу пришел! Лепешку из лебеды съел. Мать не успела тыквы напарить, свеклы засушить, а бабка за водой не сходила, чтобы картошку сварить. Дома — шаром покати.

Емеля зевал на уроке, а Сергей Кириллович с раздражением наблюдал за ним, отвлекаясь от работы. Но ученик и ухом не поводил. Был за тридевять земель от интересов школы.

Сергей Кириллович пустил линейкой в Емелю, и тот будто ожог получил. Крутнул головой в сторону, удерживая равновесие.

В момент выхода учителя из класса после урока Емеля перегородил ему дорогу и погнал молот такой вздор, такой вздор...

— Ты, Кириллыч, иконник! В церкви иконы стрелял, чтобы выдобр-

риться. Мало тебя наказывал бог-то! Ты еще тут своими линейками фу-гуешь!

И пошло, и поехало...

За многие обиды отомстил Емеля учителю. И за то, что наука плохо в голову шла, и за то, что били его больше других. И за то, что нечего есть дома.

Терпеливо слушал Сергей Кириллович ученика, ничего не говорил. Что-то оторвалось от его стремления наводить порядок во всем. Знали в селе про иконы. Знали, что каждый год что-нибудь случается с его родными, но сам он как ни в чем не бывало ходит по свету. Бабки на всякий случай придумали версию: на муки великие остается жить, чтобы искупить грех. Живому трудней переносить утрату близких людей.

Несмышленный мальчишка высказал то, о чем судачили по углам.

Ребята с открытыми ртами смотрели то на Емелю, то на учителя. В коридоре стояла гробовая тишина. Смотрел Сергей Кириллович по-иному на тех, кого учил уму-разуму и, кажется, научил...

Шевелящаяся губа Домны Ивановны провисала все ниже и ниже в то время как Кириллыч с опущенными руками и понурой головой стоял в ребячем кольце. Никогда обида не заходила так далеко в сердце, и нанес ее не Емеля. Не могли в селе простить учителю преданности новой власти в отношении религии, потому что церковь для верующих больше, чем только сам храм, куда сходятся для моления. В церкви совершались великие таинства — крестили, исповедовали, причащали, венчали, соборовали и отпевали. После революции сразу в один миг все остались без пристанища и веры. Жени, хорони, крести, как знаешь. «Это что же такое? Как скотину, бросать человека на погост!» — возмущались на селе старики.

После закрытия в церковь стали сыпать зерно. Собирались создать здесь даже клуб с отечественным очагом культуры, но реверанса с клубом не получилось. Революционным путем люди отстояли церковь, которую сами строили за пятак в день у помещика Перекислова. На великие подаяния он строил храмы в этих краях. С шапкой в руках стоял, чтобы приобрести копейку. Крупные суммы пожертвований давали родители, потерявшие детей. Графы и князья, помещики и купцы. Такие вот, как Сафонов, оставшиеся без живого наследства.

Все, что проводилось в жизнь сверху, вдруг упало на него. Для жителей села он стал главным врагом. Церковные книги, некоторые иконы, колокола люди прятали, чтобы сохранить, а себя уберечь от преследований. Разрушители церквей где-то там, далеко, а учитель здесь, вместе с ними живет. Так нередко, стреляя по воробьям, мы попадаем в собственных цыплят.

Все отчетливей проносились перед глазами Сергея Кирилловича иконы, расстрелянные им. Гордый, он беззаботно нажимал курок, и куча свинца взрывается в рисунок иконостаса, в стены.

Летом, когда поля пахнут свежим зерном, ребята работали в колхозе. Им доверяли лошадей, запряженных в бестарки, чтобы возили хлеб с тока в церковь. Там дети наталкивались на раненные иконы и стены. Странно было на это смотреть. Нет, ребята не верили в бога. Не мучила их страсть гнуть спину, закладывая кресты двумя, тремя перстами или всей ладонью. Теорий не изучали, молиться их не приучали, хотя они посещали церковь с родителями, крутились вокруг них во время службы. Забирались поближе к певчим на клирос, заглядывали в алтарь.

Сами играли в церковные службы. Для детей все было живо, что жило в народе.

Сейчас не было таинства. По богатой душистой хлебной поре ребята свободно смотрели иконы. Простреленные и разодранные, они висели обгорелым памятником суровому времени. Иконы делались сборными, в них не было металлических частей. Все соединения — прямоугольные с пирамидальными пазами. При разборке иконы напоминали древнегреческий храм с проемами и колоннами.

Заходили ребята в алтарь. Рассматривали на куполе созвездия. Тут и Емеля бывал не раз, разгребая хлеб и погружаясь в него.

Школа располагалась ниже церкви. Голубые купола храма удалялись вверх крестами, и в тумане она как бы висела, опускаясь постепенно из бездны пространства. Окна церкви напоминали школьные — делала рука одного мастера. Такие же высокие сферические верха. С двух сторон храма — боковые двери, которые открывают на большие праздники (Пасхи, Троицы или Рождества), когда наплыв людей огромен. На улице у алтарной стены — могила знаменитого иеромонаха. Добродетельного и благородного. На верху церкви под куполами — колокола. Романтическая цель ребят. С колокольной их гоняли. Попастъ туда можно было только на Пасху. В момент занятости звонаря Давыда и церковных хозяев.

Не раз хотели власти разобрать церковь по кирпичам, пытались тракторами свалить, но она стояла непокорно, не оглядываясь по сторонам, вся устремленная к истине, которой так не хватает порой даже самим верующим.

Там, за церковью, — опоясанный акациями сельский погост. Акатник — так называется здесь кладбище с крестами и дешевыми памятниками, поросшее пыреем и душистой земляникой.

Здесь же, за акатником, — деревянная мельница ветряная. (Теперь ее уже снесли за ненадобностью, а ездят молотъ за тридевять земель в другое село.) Будто огромная старая баба в широком сарафане, размахивала мельница руками над могилами с красными звездами. Хоронили на погосте даже коммунистов.

Церковь и ветряная мельница с заросшей зеленым мхом крышей словно обнимали школу и поддерживали ее под руки. Сбоку — больница, утопающая в зелени старого клена. Справа и слева — избы, крытые соломой, редко — железом.

Все приготовления к обрядам делались тогда не в сторожке, как сейчас. Ее построили значительно позже, а потому пекли просвиры у Кругловых. В доме напротив церкви. У Кругловых огромный сад, спускающийся по пригорку. Здесь груши, яблони, терн и смородина. Садов в деревне мало. А тут маленький деревянный домик утопал в белом цвете весной. Летом сюда изредка заглядывали ребята, хотя бабушка Кругловых приглядывала за садом. Да и сын ее пинал пацанов, когда ловил в саду.

Утром и вечером здесь изготавливались просфоры для проведения церковных мероприятий. Церковь работала по системе хозрасчета. Просвиры, свечки, иконки сбывались по цене гораздо более высокой, чем покупались, потому что освещение стоило немалую копейку, как и плата налога государству за землю, воду и воздух. Но верующие понимали, что везти сообща эту ношу им по плечу. Ведь тут, за храмом, похоронены их предки, да и им самим не миновать Вечного рая. Об аде люди не думали. С ним сталкивались на земле. Им так его не хотелось — спокойствием их улажало вечное поселение.

...Не звонила теперь церковь, собирая прихожан на молебен годовых и воскресных праздников. Угасла мощь колоколов, будоражащая сердце до самого районного центра. Их сняли и перелили на оружие. Повесили посреди села дребезжащее колесо и по утрам молотили по нему, собирая людей на работу. Они с радостью шли, веря, что строят для своих детей будущее. Хотя замечали, что вовсе и не получается будущего. Деревню их выкорчевывают, как выкорчевывали церковь. И от них нужен план, хлеб, молоко, мясо и энергия без отдачи. Все больше и больше на месте сел оставались кирпичные и каменные пни с таинственными ямами. Наиболее привлекательный долгожитель из всех пней округа — церковь Красного Колена за Глиновым оврагом. Там, в центре огромного старого сада, проводился базар по выходным. А за садом работала церковь. Место базара теперь пусто, сад иссыхает, люди разбегаются, и только свод кирпичный, как пень, напоминает издали о былой мощи русского крестьянина.

...Сейчас Сергей Кириллович не раскаивался в грехах, но глубже понимал события, и мельче становились его поступки и решения тех, кто сталкивал людей лоб об лоб. Понимал: расстрел икон был с его стороны оскорблением не церкви, но жителей. А ведь ему приходилось учить слову божьему при царском режиме. Как меняются, как меняются люди! Так бывает, сегодня хвалят человека, а завтра его же ругают, потому что выгнали или назначили другого. Какая власть у учителя? Сергею Кирилловичу надо было жить, а вернее, служить новому строю, зарабатывать на жизнь.

Вспоминались, ожили несчастья. Жена Софья Алексеевна проплывала перед взором. Разрубая икону на дрова, она поранила щепкой один глаз, а ослепла на оба. Дочь, заканчивая медицинский институт в Ленинграде, трагически погибла. Отрезали голову и бросили в неприличное место. Вторая дочь умерла от тифа, сын — от туберкулеза.

У Сергея Кирилловича будто все внутри перевернулось, закружилось, он потерял равновесие и упал. Оказывается, не он владел душами своих учеников, а бабки и те ошибки, которые не прощают на этом свете, видать, только богам и учителям.

Домна Ивановна, не дожидаясь окончания выступления Емели, двинулась косить тех, кто оставался на ее пути. Шла уверенно к низеньким синеватым дверям и добралась скоро до Емели, не по годам огромного парня, одетого в материно плисовое пальто, — в школе зимой прохладно: кирпичные круглые печи мало дают тепла.

Емеля разошелся не на шутку и полез на Домну Ивановну в драку. Угловатое лицо его покраснело, изо рта летела слюна.

Домна Ивановна сделала паузу, постояв с минутку, сплюнула в кулак и прилепила Емеле оплеуху. Тот перевернулся несколько раз и приземлился.

Так бы и катался наш Емеля на бабушке и матери, если бы не открытый урок Домны Ивановны. Решил он вылить зlobу перед друзьями, но потерпел поражение.

— Довольно с ним, — промолвила хрипловатым басом Безмен. — А то, чаво доброго, на акатник угодит, греха не оберешься...

Сергей Кириллович очнулся от воспоминаний и остолбенел, когда увидел, что Домна Ивановна приложила руку старания к Емельке. «Ведь это мои дела, почему она вмешивается?» — промелькнуло мгновенно у него в голове.

— Прекратите безобразия, Домна Ивановна Безмен! — автоматически крикнул учитель. Он впервые назвал ее так, как называли дети. Сергей Кириллович вдруг опомнился от nepозволительного поступка. «Да, мы находимся на одном полозу с Емелей, — подумал он. Контролируй себя — и ты учитель, а не удержишься — ты человек со всеми слабостями. «Господи, прости меня, грешного», — неожиданно сказал он сам себе, как говорил это раньше. «Не сделалось ли у нашего учителя с мозгами что?» — прикинула про себя Домаха.

Перемена затянулась с коридорными событиями, и Домна Ивановна позвонила с опозданием, нарушив обычный порядок. Она выпрямилась во весь свой сухопарый рост и с каким-то женским восторгом дала знать о начале занятий. На сей раз Кириллыч, Кошкина и Мария Андреевна провели урок без замечаний.

Емеля неподвижно лежал в углу коридора. То ли не мог встать, то ли боялся, как бы не последовал еще удар. Потом он встал, умылся, взял холщовую сумку с книгами и тетрадями и без шума исчез из школы, в которую больше никогда не наведывался...

Когда бывшие крестники Домны Ивановны проходят мимо школы, то воспоминания о ее подвигах вызывают у них улыбку. Многие стерлось из памяти, и только величественный памятник Домахи со звонком в огромной руке стоит перед взором и будит отголоски прошлого.

